



Эмиль Золя

Дамское счастье

Перевод Елены Айзенштейн

Эмиль Золя

Дамское счастье

«Издательские решения»

Золя Э.

Дамское счастье / Э. Золя — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-516742-2

Знаменитый роман Эмиля Золя «Дамское счастье» — одиннадцатый роман писателя, опубликованный в 1883 году, из двадцатитомного цикла «Ругон-Маккары» — книга о юной Денизе Бодю, волей судьбы оказавшейся в Париже. Золя исследует в романе женскую душу, любопытен человеческими типами, красотой описаний. Магазин, фигурирующий в романе, — знаменитый «Бон Марше», до сих пор радующий парижских покупателей.

ISBN 978-5-00-516742-2

© Золя Э.

© Издательские решения

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	21
Глава 3	37
Глава 4	52
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Дамское счастье

Эмиль Золя

Оформление обложки Елена Оскаровна Айзенштейн

Переводчик Елена Айзенштейн

© Эмиль Золя, 2023

© Елена Айзенштейн, перевод, 2023

ISBN 978-5-0051-6742-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

Дениза стояла у обочины вокзала Сен-Лазар, где остановился поезд из Шербурга, на котором приехала она с двумя братьями, проведя ночь на жесткой скамье в вагоне третьего класса¹. Она держала за руку Пепе, а Жан следовал за ней, и все трое, уставшие от поездки, растерянные и потерянные посреди огромного Парижа, задирая носы, смотрели на дома, спрашивая на каждом перекрестке улицу Мишудьер, где жил их дядя Бодю.

Но как только они вышли на площадь Гэйон, молодая девушка остановилась от удивления.

– О! – сказала она. – Посмотри, Жан!

И они остановились, прижавшись друг к другу, в своих черных одеждах, надетых по случаю траура по их отцу. Она, жалкая для своих двадцати лет, бедно одетая, держала легкий пакет, а с другой стороны стоял маленький пятилетний брат и вис на ее руке. А рядом плечом к ней прислонялся второй брат шестнадцати лет от роду, цветущий юностью, размахивающий руками.

– Отлично, – сказала она после минутного молчания, – вот и магазин.

Это было на углу улиц Мишудьер и Нов-Сэн-Огюстан, у магазина новинок, чьи полки сияли живой рекламой, в нежности и бледности октябрьского дня. В восемь колокола зазвонили на Сэн-Рош, на улицах не было никого, кроме утренних парижан; служащие и работники магазинов шли на свои предприятия. Перед дверью – двое работников подняли по двойной лестнице шерстяные изделия, а на витрине на улице Нов-Сэн-Огюстан другой служащий, встав на колени и согнув спину, аккуратно прищипливал кусок голубого шелка. Магазин, в отсутствие клиентов, едва заполнился сотрудниками и звучал, как проснувшийся улей.

– Проклятье! – воскликнул Жан. – Это погружает в Валони. Но твой магазин не был так хорош.

Дениза кивнула. Два года она провела у Корнеля, в лучшем магазине города; этот потрясающий магазин внезапно попавшийся ей на глаза, принуждал биться ее сердце, удерживал, волновал, интересовал, заставлял забыть обо всем остальном. Высокая дверь, выходящая на площадь Гэйон, всеми стеклами поднималась на антресоль, украшенная сложным орнаментом и позолотой. Две аллегорические фигуры, две смеющиеся женщины, с обнаженной и запрокинутой шеей, разворачивали вывеску: «Дамское счастье».

Затем витрины тянулись по улицам Мишудьер и Нов-Сэн-Огюстан, где занимали, кроме углового здания, еще четыре дома, два слева и два справа, недавно купленные и отремонтированные. Это предприятие казалось бесконечным, в ускользающей перспективе, с полками подвального этажа и стеклами без антресольных тайн, за которыми виднелась вся внутренняя жизнь магазина.

Сверху мадмуазель, одетая в шелк, точила карандаш, пока рядом с ней две другие девушки разворачивали бархатные манто.

– «Дамское счастье», – прочел Жан с нежным смехом прекрасного юноши, имевшего интрижку с женщиной в Валони. – А! Это мило, это то, за чем гонится весь свет!

Но Дениза продолжала стоять, задумавшись, на том же месте, перед витринами у центрального входа. Там, на воздухе, на тротуаре, в гроздьях дешевых товаров – заманчивость двери, возможности, останавливающие клиентов в проходе. С высоты – куски шерсти и драпа, мериноса, шевиота, флиса, ниспадавшие с антресолей, развевавшиеся, как знамена, чей нейтральный, серо-грифельный, морской волны, оливково-зеленый был разбавлен белыми таб-

¹ Французский текст взят для перевода из следующего источника: <http://www.gutenberg.org/cache/epub/16852/pg16852-images.html>

личками этикеток. Рядом, обрамляя порог, висели ремни из меха, узкие ленты для украшения платьев, тонкая зола беличьих спинок, розовый снег лебединого брюха, кроличьи шкурки, выделанные под горностая или куницу. Дальше, внизу, в шкафчиках и на прилавках, посреди нагромождения отрезков, выплескивались продающиеся за бесценок трикотажные изделия, перчатки и трикотажные шерстяные платки, капоры, жилеты, вся зимняя пёстроцветная, полосатая узорчато- красная витрина. Дениза увидела тартанеллу за сорок пять сантимов, американскую норковую ленту за франк и перчатки за пять су. Это был гигантский базар; магазин, казалось, переполнился и выбрасывал излишки своих товаров на улицу.

Дядя Бодю был забыт. Даже Пепе, не оставляя руку сестры, раскрыл свои огромные глаза. Проехавшая карета заставила всех трех покинуть середину площади, и машинально они отправились на Нов-Сэн-Огюстан, любуясь витринами и каждый раз останавливаясь перед новыми. Сначала их прельщало сложное устройство всего; косо поставленные сверху зонтики, казалось, образовывали крышу деревенской хижины. Ниже – шелковые чулки, натянутые на манекены, показывали округлые профили икр. Одни были украшены букетами роз, другие – всех оттенков, черные прозрачные и красные, вышивкой по краям, чей атлас имел нежность белой кожи. Наконец, на полотне, на одной из полок лежали симметрично раскиданные перчатки, с вытянутыми пальцами, с узкой византийской целомудренной ладонью, и эта напряженная грация застыла, как девочка-подросток в ткани, которую никогда не носила. Но последняя витрина вдруг задержала их: выставка шелка, атласа и бархата распустилась в гибкой и переливающейся гамме самых нежных оттенков, наверху – бархат, черная глубина, творожная белизна, немного ниже – атлас, розовый, голубой, в живых, оживленных складках, обесцвеченных бледностью бесконечной нежности, еще немного ниже – шелка, весь радужный шарф, куски, завернутые в обшивку, плиссированные, как вокруг талии, которая изгибается и становится живой под знающими пальцами продавцов. И каждый мотив каждой фразы красочной витрины бежал под тайный аккомпанемент легкого шнурка видневшегося кремового шарфа. Это там, с двух краев спускались с огромных колонн два шелка, находившиеся в исключительной собственности дома, «Счастье Парижа» и «Золотая кожа» – редкостные вещи, которые своей новизной перевернут коммерческое дело.

– О! Это снижение цены, пять франков шестьдесят, – прошептала Дениза, пораженная «Счастьем Парижа».

Жан начал скучать. Он остановил прохожего:

– Это улица Мишудьер, мосье?

Когда ему указали на первую улицу справа, все трое вернулись к своему маршруту, обойдя магазин вокруг. Но когда Дениза оказалась на улице, она снова посмотрела на витрину, где были выставлены готовые платья для дам. У Корнеля, в Валони, ей было поручено именно готовое платье. Никогда она не видела подобного, и восхищение прибывало ее к тротуару. В глубине большой кружевной шарф от Бурже по значительной цене расстилался покрывалом алтаря и двумя развернутыми крыльями и красноватой белизной. Воланы алансонского кружева брошены были в гирлянды, и потом, полной горстью, – журчание всех кружев, мехеленского, валансьенского, брюссельского и, как снегопад, венецианского. Справа и слева куски ткани выглядели темными колоннами уходящей вдаль скинии. Там находилось готовое платье, в этой поднимающейся в качестве культа женской грации часовне. Центр занимали исключительно белье и бархатные манти, украшенные серебристой лисой. Рядом – ротонда из шелка, с серой обивкой; с другой стороны – пальто из драпа, украшенные петушиными перьями, и наконец, разные сорта бальных платьев, из белого кашемира, из белого флиса, украшенные лебедиными перьями или шелковыми лентами. На любой каприз, начиная от бальных за двадцать девять франков и заканчивая бархатными манти за восемнадцать сотен франков. Круглые шеи манекенов раздували ткань, сильные бедра подчеркивали тонкость талии, отсутствовавшая голова была заменена большой этикеткой, прикрепленной булавкой в красном флисе

воротника, так что стекла по обе стороны витрины, с их рассчитанной игрой, бесконечно отражавшие и умножавшие, населяли улицы прекрасными женщинами, а цена была размещена прямо на голове.

– Они такие отличные! – бормотал Жан, не нашедший других слов, чтобы выразить свои чувства.

Вдруг он остановился в неподвижности, открыв рот. Вся женская роскошь заставила его покраснеть от удовольствия. Он видел красоту девушки, красоту, которая, казалось, украдена у его сестры, с сияющей кожей, с рыжими кудрявыми волосами и влажными губами и глазами. Рядом с ним, также изумленная, Дениза казалась еще более тонкой, со своим длинным лицом и с слишком большим ртом, с несколько усталым цветом лица и со светлыми волосами. Пепе, тоже белокурый мальчик, прижимался к ней, в беспокойной потребности нежности, смущенный и восхищенный прекрасной дамой в витрине. Они были так неповторимы и очаровательны там, на мостовой, эти три белокурых существа, одетых в черное, эта прекрасная девочка, стоявшая между малышом и превосходным старшим мальчиком, что прохожие оглядывались на них с улыбкой.

Через мгновение грубый человек с седыми волосами и большим желтым лицом остановился на пороге магазина, на другой стороне улицы, и посмотрел на них. С красными глазами и перекошенным ртом он смотрел на полки «Дамского счастья», когда взгляд молодой девушки и братьев перестал его раздражать. Что делают они, эти три человека, зевая перед зрелищем для шарлатанов?

– Дядя, – вдруг, словно проснувшись, заметила Дениза.

– Мы на улице Мишудьер, – сказал Жан. – Он, должно быть, живет здесь.

Они подняли головы и обернулись. И тогда увидели прямо перед собой сверху крупного человека. Они заметили мокрую надпись, чьи желтые буквы выцвели под дождем: «*В Старом Эльбёфе – драп и фланель, Бодю – преемник Ошикорна*». Дом, с осыпавшейся ржавой побелкой, весь плоский среди зданий в стиле Луи четырнадцатого, с которыми соседствовал, имел лишь три окна на фасаде. Эти окна, зарешеченные, без замков, были просто снабжены железными прутьями, расположенными крест-накрест. Но в этой наготе, поразившей Денизу, чьи глаза остановились на полных, сияющих прилавках «Дамского счастья», этот магазинчик на первом этаже, со щепневым потолком, увенчанный очень низкими антресолями, при свете месяца напоминал тюрьму. Обшивка здания – цвета бутылочного стекла, который время разбавило охрой и битумом; справа и слева были устроены глубокие витрины, черные, пыльные, где неясно можно было различить кусочки нагроможденных тканей. Открытая дверь, казалось, вела в темную влажность подвала.

– Это там, – повторил Жан.

– Хорошо, нужно войти, – произнесла Дениза. – Пойдем, Пепе.

Однако все трое смутились, охваченные робостью. Когда их отец умер от той же самой лихорадки, которая месяцем раньше унесла их мать, дядя Бодю, в порыве этого двойного горя, тепло написал племяннице, что для нее у него всегда найдется место, если однажды она захочет испытать судьбу в Париже, но этому письму исполнился уже год, и молодая девушка каялась теперь, что покинула Валони так внезапно и явилась, как снег на голову, не предупредив своего дядю. Он не знал их и давно ногой не ступал туда, откуда ушел еще мальчишкой, чтобы стать торговцем у продавца тканей Ошикорна, закончив тем, что женился на дочери торговца.

– Мосье Бодю? – спросила Дениза, решив, наконец, обратиться к крупному человеку, который с изумлением посмотрел на них.

– Это я, – ответил он.

Тогда Дениза сильно покраснела и пролепетала:

– Ах! Так-то лучше. Я – Дениза. Вот – Жан, а это – Пепе. Видите, мы приехали, дядюшка.

Дядя выглядел потрясенным. Его большие красные глаза задрожали на желтом лице. Эти немногие слова смутили его. Очевидно, он находился в тысяче лье от этой семьи, свалившейся на его плечи.

– Как! Как! Вы! – повторял он несколько раз. – Но ведь вы были в Валони. Почему вы не в Валони?

Своим нежным, немного дрожащим голосом она должна была объяснить. После смерти отца, который проел почти до последнего су свою красильню, она стала матерью двум детям. Того, что она зарабатывала у Корнеля, не хватало, чтобы прокормить их троих. Жан хорошо работал у столяра-краснодеревщика, восстанавливавшего старую мебель; он не получал ни су, однако приобрел вкус к старине: он вырезал фигурки из дерева и даже однажды попробовал вырезать из кусочка слоновой кости. Было приятно сделать голову, которую увидел проходивший мимо мосье, и именно этот мосье решил найти для Жана место у резальщика по слоновой кости.

– Вы понимаете, дядюшка, Жан пойдет завтра на обучение к своему новому патрону. Он не просит у меня денег, он будет там жить и питаться. И тогда я подумала, что Пепе и я, мы сможем как-то прокормиться. И не станем более несчастными, чем в Валони.

Она умолчала о любовной истории Жана, о письмах, написанных благородной девушке, о поцелуях, которыми те обменивались через стену, обо всем том скандале, который закончился отъездом. Она сопровождала своего брата в Париж, чтобы присматривать за ним, понимая материальные трудности, стоящие перед этим большим ребенком, таким прекрасным и веселым, что все женщины обожали его.

Дядя Бодю не мог оправиться от всего этого. Он возобновил свои вопросы. Однако, когда она заговорила о братьях, он начал ее поучать.

– Твой отец вам ничего не оставил? Я полагал, что там есть еще несколько су. Ах! я ему много раз советовал в письмах не брать эту красильню. Смелое сердце, но какая легкая голова! И ты осталась с мальчиками на руках и должна кормить эту маленькую семью.

Его желчное лицо посветлело, глаза уже не были такими красными, какими он смотрел на «Дамское счастье». Вдруг он заметил, что преграждает дверь.

– Пойдемте, входите, раз приехали... Это лучше, чем фланировать перед чудовищем.

После этого он обернулся к полкам магазина, и на его лице вновь выразилась последняя вспышка гнева, он предложил детям войти, он первым вошел в магазин, а затем позвал свою жену и дочь:

– Элизабет! Женестьева! Идите, к вам гости.

Но Дениза и малыши были смущены темнотой магазина. Ослепленные ясным днем улицы, они моргали, словно на пороге неизвестной пещеры, ощупывая пол ногами, испытывая инстинктивный страх перед незнакомой лестницей. И, еще раз приблизившись с туманным страхом, прежде взять мальчиков за руки, один впереди ее большой юбки, другой позади, они вошли с милой улыбкой и нерешительностью. Ясность утра подчеркивала силуэты их траурных одежд. Косые лучи солнца золотили их русые волосы.

– Входите, входите, – повторил Бодю.

Несколькими немногословными фразами он указал на мадам и ее дочь. Первая была маленькой малокровной женщиной, беленькой, с седыми волосами, с белыми глазами и белыми губами. Женестьева, которая еще не дошла до состояния своей матери, имела бледный вид и угасала, как растение, растущее в тени. Однако великолепные черные волосы, густые и тяжелые, как чудо, росли в этой бедной плоти, придавая ей печальное очарование.

– Входите, – сказали, в свою очередь, обе женщины. – Добро пожаловать.

И они усадили Денизу к столу. Пепе забрался на колени своей сестры; Жан, прислонившись к древесине стола, стоял рядом.

Успокоившись, они рассматривали магазин, где их глаза уже привыкли к темноте. Теперь они видели низкий и закоптелый потолок, полированный дубовый стол, вековые шкафчики с прочными застежками. Темные тюки товаров поднимались почти до балок. Запах сукна и красильни, упорный запах химикатов, казалось, удесятерил влажность пола. В глубине два работника и мадмуазель укладывали белую фланель.

– Может быть, этот маленький мосье хочет что-нибудь? – сказала хозяйка дома, улыбувшись Пепе.

– Нет, спасибо, – ответила Дениза. – Мы выпили по чашке молока в кафе, рядом с вокзалом.

И, поскольку Женевьева посмотрела на легкий пакет, поставленный ею на землю, Дениза добавила:

– Я оставила там наш сундук.

Она покраснела и поняла, что они не попадают в категорию гостей. И уже в вагоне, когда поезд покидал Валони, она испытала сожаление; вот почему, приехав, она оставила сундук и позавтракала с детьми на вокзале.

– Посмотрим, – сказал вдруг Бодю, – немного поговорим и хорошо поговорим; я писал тебе, правда, но прошел год, и видишь, моя бедная девочка, в течение года мои дела не шли успешно...

Он остановился, терзаемый эмоциями, которые не хотел выставлять напоказ. Мадам Бодю и Женевьева смиренно опустили глаза.

– О! – продолжал он, – это кризис, который пройдет, я очень спокоен. Просто я сократил мой персонал, осталось всего три работника, и в данный момент я не могу нанять четвертого. В конце концов, мне нечего тебе предложить, мое бедное дитя.

Дениза выслушала, все поняла и побледнела. Он настойчиво добавил:

– Ничего не будет ни для тебя, ни для нас.

– Хорошо, дядюшка, – закончила она мучительный разговор. – Я постараюсь как-то сама протянуть.

Бодю не была плохими людьми. Но эти люди жаловались, что не имели удачи. Во времена начала их торговли они должны были поставить на ноги пятерых сыновей, трое из них умерли двадцатилетними, четвертый пошел не по той дороге, пятый в качестве капитана уехал в Мексику. И с ними осталась только Женевьева. Семейная жизнь стоила дорого, и Бодю закончил тем, что купил в Рамбуйе земли отца своей жены, лачугу вместо дома. Горечь также вырастила в них маниакальную приверженность к старой коммерции.

– Мы бы тебя предостерегли, – повторил он, понемногу сердясь на собственную твердость, – ты могла бы написать мне, и я ответил бы тебе, чтобы ты осталась там. Когда я узнал о смерти твоего отца, ей-богу, я говорил тебе, что в таких случаях говорят обычно. Но ты свалилась нам на голову, не предупредив... Это очень неловко.

Он повысил голос, облегченно вздохнув.

Его жена и дочь опустили взоры на землю, как слуги, которые никогда не могли вмешиваться в разговор. Однако глаза Жана заблестели, Дениза крепче прижала к груди объятую ужасом Пепе. Она уронила две большие слезы.

– Хорошо, дядя, – повторила она. – Мы уходим.

Вдруг он продолжил. Воцарилось молчание. Потом он произнес угрюмым тоном:

– Я не указывал вам на дверь. Поскольку вы только приехали, сегодня вечером вы будете спать наверху. После разберемся.

Мадам Бодю и Женевьева взглядами показали, что они могут разложить вещи. Все было устроено. Не было необходимости заниматься Жаном. Что касается Пепе, ему было бы чудесно у мадам Грас, которая жила в подвальном этаже улицы Орти, где у нее был полный пансион для

маленьких детей за сорок франков в месяц. Однако ничего не оставалось, как разместиться ей самой. Найдется ей место в этом квартале.

– Разве Винсар не спрашивал о продавщице? – спросила Женевьева.

– Твоя правда, – воскликнул Бодю. – Посмотрим после завтрака. Нужно ковать железо, пока горячо.

Ни один клиент не появился, чтобы нарушить эту семейную сцену.

Магазин оставался темным и пустым. В глубине два работника и мадмуазель продолжали свой труд, что-то шепча и насвистывая. Однако три дамы появились, и Дениза на мгновение осталась одна. При мысли об их близкой разлуке от всего сердца она поцеловала Пепе. Ребенок, ласковый, как маленький котенок, спрятал свою голову, не произнося ни слова. Когда мадам Бодю и Женевьева вернулись, они нашли его очень серьезным, и Дениза поняла, что никакого шума больше не будет: он оставался молчалив все дни, оживляясь от ласки. Потом, до самого завтрака, все трое говорили с детьми о хозяйстве, о жизни в Париже и в провинции туманными и короткими фразами, о родителях немного смущенно, так как не знали их. Жан стал у порога магазинчика и больше не двигался, интересуясь жизнью тротуаров, улыбаясь красивым девушкам, проходившим мимо.

В десять часов появилась бонна. Как обычно, для Бодю, Женевьевы и первого продавца был накрыт стол, второй завтрак в одиннадцать часов накрывали для мадам Бодю, второго продавца и мадмуазель.

– К супу! – крикнул суконщик, повернувшись к своей племяннице.

И все уже сидели в тесной столовой в задней части магазина, когда дядя позвал первого работника, который запаздывал.

– Коломбо!

Молодой человек извинился: он хотел закончить складывать фланель. Это был крупный парень лет двадцати пяти, тяжелый и заматеревший. У него были честное лицо, большой мягкий рот и деревенские глаза.

– Что за черт, всему свое время, – сказал Бодю, который нежно и осторожно разделявал кусок холодной телятины, адресованной себе самому, взвешивая на глаз тонкие части.

Он все приготовил, нарезал хлеба. Дениза посадила Пепе рядом с собой, чтобы аккуратно покормить. Но темная зала его пугала; она посмотрела на ребенка и почувствовала, как сжимается ее сердце. В своей провинции она привыкла к пустым, широким и светлым комнатам. Только окно, распахнутое в маленький внутренний двор, сообщалось с улицей через черную аллею. И этот двор, мокрый, вонючий, был подобен дну колодца, куда падал круг мутного света. В зимние дни утром и вечером дом освещали газом. Когда время позволяло не зажигать света, зрелище было еще печальнее. И Денизе надо было мгновенно приучить свои глаза к темноте, чтобы различить кусочки на своей тарелке.

– Вот молодец, у него отличный аппетит, – провозгласил Бодю, отметив, что Жан расправился со своим куском телятины. Если он работает так же, как ест, из него выйдет большой человек... Но ты, моя девочка, ты совсем не ешь?.. Скажи мне, теперь мы можем поговорить, почему ты не вышла замуж в Валони?

Дениза отставила свой стакан, который она уже поднесла ко рту.

– О дядя! Замуж! Как вы могли подумать об этом?.. А мальчики?

Она перестала смеяться: эта мысль представилась ей чудной. К тому же, где мужчина, который захотел бы взять ее замуж, не имевшую ни су в кармане, такую маленькую и такую пока некрасивую? Нет, нет, никогда она не выйдет замуж. У нее уже есть двое детей, и этого достаточно.

– Ты не права, – вновь вступил в разговор дядя. – Женщина всегда нуждается в мужчине. Если ты найдешь хорошего парня, вы не будете просить милостыню на парижских мостовых, как цыгане.

Он прервал свою речь, чтобы справедливо, с бережливостью разделить тарелку картофеля с салом, которую принесла горничная. Потом указал ложкой на Женевьеву и Коломбо:

– Ну! Эти двое поженятся весной, если зимний сезон будет хорош.

Это был старинный обычай. Основатель династии Аристид Фине отдал свою дочь Дезире за своего первого продавца Ошикорна; он, Бодю, оказавшийся на улице Мишудьер с семью франками в кармане, женился на дочери Ошикорна, Элизабет: он, в свою очередь, собирался выдать свою дочь Женевьеву со своим домом в придачу за Коломбо, который продолжит его дело. Если он опять отложил брак, решение о котором было принято тремя годами ранее, то сделал это из приверженности порядочности, из щепетильности: он получил процветающий дом и не хотел перехода дома в руки зятя с меньшим количеством клиентов и с сомнительными делишками.

Бодю продолжал, представив Коломбо, который был родом из Рамбуйе, как и отец мадам Бодю. Между ними существовало даже дальнейшее родство. Хороший работник в течение десяти лет, Коломбо ишачил в магазине, заслужив свое место. Кроме того, Коломбо приехал не первый. Он прибыл из-за отца, бражника Коломбо, ветеринара, известного всей округе Сен-э-Уаз, художника в своей области, имевшего только рот, который ел.

– Спасибо Богу, – сказал суконщик в довершение, – поскольку отец по-свински пил, его сын узнал здесь цену деньгам.

Пока он говорил, Дениза внимательно смотрела на Коломбо и Женевьеву. Они сидели за столом рядом, но оставались очень спокойными, не краснели и не улыбались. С того дня как он появился здесь, молодой человек рассчитывал на этот брак. Он прошел разные этапы: маленького продавца, назначенного продавца и, наконец, управляющего, к удовольствию всей семьи, со всем терпением, строго по часам, глядя на Женевьеву как на честную и прекрасную сделку. Уверенность в обладании ею мешала желанию. Молодая девушка также привыкла любить его, но с серьезностью ее сдержанной натуры; в своем обыденном существовании, повелевавшем всеми ее днями, глубокой страсти она не знала.

– Когда нам нравится и когда мы можем, – сказала Дениза с улыбкой, желая выглядеть любезной.

– Да, мы всегда заканчиваем на этом, – сказал Коломбо, до сих пор не произнесший ни слова, медленно пережевывая пищу.

Женевьева, окинув его долгим взглядом, в свою очередь произнесла:

– Нужно слушать друг друга, и все будет в порядке.

Их нежность, подобно цветку в подвале, росла в нижнем этаже старого Парижа. В течение десяти лет она не знала никого, кроме него, проводила дни за теми же колоннами сукна, в сумрачной глубине магазина; и утром, и вечером они находились рядом, локоть к локтю, в тесной столовой, где было, словно в прохладном колодце. Они не были бы в большем уединении, более потерянными даже деревне, в окружении листвы. Одно сомнение, один ревнивый страх должен был открыться юной девушке, что она отдается навсегда, посреди этой общины-тени, с пустым сердцем и тоской в голове.

Однако Дениза заметила зарождающееся беспокойство через взгляд, брошенный Женевьевой на Коломбо, и ответила таким же добрым тоном:

– Ну! Когда любят, всегда понимают друг друга...

Бодю с властным вниманием следил за тем, что происходило за столом. Он раздавал язычки бри, чтобы почтить родителей Денизы. Он попросил второй десерт, горшочек конфитюра из крыжовника, со щедростью, кажется, удивившей Коломбо. Пепе, до сих пор серьезный, из-за конфитюра вел себя плохо. Жан, заинтересованный разговором о браке, разглядывал кузину, которую находил слишком пухленькой, слишком бледной. В глубине души он сравнивал ее с маленьким белым кроликом, с двумя черными ушками и красными глазками.

– Хватить слов, перейдем к другому! – сказал торговец сукном, дав сигнал подниматься из-за стола. – Это не причина, чтобы позволять себе пренебрегать обязанностями.

Мадам Бодю, другой продавец и мадмуазель вернулись к своим делам. Дениза снова осталась одна, сидя у двери и ожидая, пока дядя поведет ее к Винсару. Пепе играл у ее ног, Жан продолжил свои наблюдения на пороге. И почти в течение часа она интересовалась вещами, происходившими вокруг нее. Издалека приезжали клиенты: появилась дама, потом две другие. Бутик хранил свой запах старины, запах всего полдня, где вся старая коммерция, благородных и простых людей, казалось, плакала от заброшенности. Но на другой стороне улицы находилось «Дамское счастье», интересовавшее ее, чьи витрины Дениза обзревала через открытые двери. Небо сбросило вуаль, и мягкий дождь обнимал воздух, несмотря на время года. И в этом светлом дне, когда, как пыль, солнце рассеивало свои лучи, огромный магазин оживал и дышал полной грудью.

Денизе казалось, что перед ней словно машина, функционирующая под высоким давлением, чей рывок достигает витрин. Это не были больше холодные утренние витрины; теперь они казались разгоряченными и вибрирующими внутренним трепетом. Люди смотрели на них, женщины останавливались перед витринами, побежденные, колебалась вся озверевшая от вожделения толпа. И ткани жили в этой страсти тротуаров; с волнующей таинственностью кружева дрожали, падая и скрываясь в глубине магазина; куски драпа, толстые и прямые, дышали, вздувались соблазнительными вздохами, тогда как пальто выгибались на манекенах, которые обретали душу, и большие манто из бархата надувались, мягкие и теплые, как на человеческих плечах, с пульсом у горла и с трепетом в талии. Но предпринимательский жар, которым был одержим дом торговли, пришел вместе с торговлей и сутолокой у прилавков, которая чувствовалась даже вне стен. Шел непрерывный гул работающей машины, наполненной клиентами, сгрудившимися перед полками, одурманенными продавцами, а потом кидающимися в кассу. С механической точностью вся женская аудитория действовала по строгому расписанию, приводилась в действие силой и автоматической логикой.

С самого утра Дениза испытывала соблазн. Этот магазин, такой огромный для нее, где за час она увидела, как вошло столько народу, сколько у Корнеля – в течение шести месяцев, кружил голову и очаровывал ее; и туманный страх осуществил свое соблазнение, вызвав ее желание проникнуть туда. В то же самое время рядом – магазин ее дяди, вызывавший у нее тяжелое чувство. Это было иррациональное презрение, инстинктивное отвращение от ледяной норы старой коммерции. Все чувства, всё внутреннее беспокойство, недобрый прием родных, печальный завтрак в темнице, ее ожидания посреди сонного одиночества этого старого умирающего дома – всё сводилось к глухому протесту, к жажде жизни и света. И, несмотря на доброе сердце, взором она все время возвращалась к «Дамскому счастью», как если бы продавщица внутри нее имела необходимость согреться пламенем этой великой торговли.

– По крайней мере, вот это мир! – разрешила она себе сказать.

Но пожалела о своих словах, заметив Бодю рядом с собой. Закончив завтрак, мадам Бодю уже стояла на ногах, вся белая, с белыми глазами, застывшими перед чудовищем; и безропотная тетя не могла наблюдать «Дамское счастье» на другом конце улицы без молчаливого отчаяния и подрагивания век. Женевьева с растущим беспокойством поглядывала на Коломбо, который караулил, пребывая в экстазе, глядя вверх на продавщиц готового платья, которых можно было разглядеть у прилавка, через большие стекла на антресолях. Бодю с желчным лицом удовлетворенно сказал:

– Не все золото, что блестит. Терпение!

Очевидно, семья вернулась в поток обиды, который поднимался в горле. Мысль о самозавещании не давала ему так быстро открыться этим детям, приехавшим утром. Наконец, суконщик сделал усилие, отвернулся, чтобы оторваться от торгового спектакля.

– Хорошо, – сказал он. – Посмотрим у Винсара. Место пользуется спросом, и завтра его может уже не быть.

Но перед тем как выйти, он отдал распоряжение второму продавцу пойти на вокзал, чтобы забрать сундук Денизы. Со своей стороны, мадам Бодю, которой молодая девушка доверила Пепе, решила воспользоваться моментом, чтобы отправиться на маленькую улицу Орти, к мадам Грас, поговорить с ней и договориться насчет Пепе. Жан пообещал сестре не выходить из магазина без нее.

– Мы на пару минут, – объяснил Бодю, пока они с племянницей спускались на улицу Гэйон. – Винсар создал специальный шелк, там есть еще работа. О! У него дел, как и у всех, но этот пройдоха с собачьей скупостью сводит концы с концами, однако я полагаю, что он захочет выйти из дел по причине ревматизма.

Магазин находился на улице Нов-де-пети-Шомп, рядом с пассажем Шуазель. Он был чистый и ясный, со всей современной роскошью, однако маленьким и бедным по наличию товаров. Бодю и Дениза застали Винсара во время важной беседы с двумя мосье.

– Не беспокойтесь! – кричал суконщик. – Мы не спешим, мы подождем.

И, молчаливо подойдя к двери, он склонился к уху молодой девушки, добавив:

– Тонкий – это второй продавец шелка в «Счастье», а толстый – фабрикант из Лиона.

Дениза поняла, что Винсар собирался отдать свой магазин Робино, продавцу «Дамского счастья». Искренний тон, открытое выражение лица, Винсар дал слово чести с легкостью человека, которому клятвы не мешали. По его мнению, его дом торговли был золотой чашей: и в сиянии своего крепкого здоровья он прервался, чтобы покряхтеть, пожаловаться на свои священные страдания, которые заставили его упустить свое счастье. Но Робино, нервный и неуравновешенный, с нетерпением прервал его: он знал о кризисе, испытываемом в области новинок торговли, он упоминал о шелке, убитом уже соседством «Дамского счастья». Винсар гневался, повышая голос.

– Ей-богу, крах этого великого чижа Вабре был неизбежен. Его жена съела все. Кроме того, у нас здесь более пятисот метров, тогда как Вабре находится дверь с дверью с другими.

Однако вмешался Гожан, шелковый фабрикант. Вновь голоса стали тише. Он обвинял большие магазины в разрушении французской промышленности; три или четыре создавали закон, царили хозяевами на рынке; оставалось ждать, что единственным способом сражения может быть поддержка малой коммерции, главным образом, слабой, которой принадлежит будущее. И Робино он предложил очень щедрые кредиты.

– Увидите, как «Счастье» начнет Вас уважать, – повторил он. – Никакого учета оказываемых услуг, машин, эксплуатируемых людьми. Положение первого продавца вам было давно обещано, когда Бутмонт, который прибыл извне, не имевший никакого звания, вдруг получил его.

Рана этой несправедливости кровоточила еще у Робино. Однако он волновался, как самоутвердиться, и объяснял, что деньги пришли не от него. Это его жена унаследовала шестьдесят тысяч франков, он был полон щепетильности в отношении этой суммы, лучше, объяснял он, отрезать сразу два пальца, чем быть замешанным в дурных делах.

– Нет, я еще не решил. Оставьте мне время на размышление. Мы к этому вернемся, – в заключение беседы сказал он.

– Как хотите, – ответил Винсар, пряча свое отчаяние под маской благородного человека. – Я заинтересован не продажами. Пойдемте, без моих печалей...

И, вернувшись на середину магазина:

– Как ваши дела, мосье Бодю?

Суконщик, слушавший одним ухом, представил Денизу и рассказал, что хотел, из ее истории. Он сказал, что она два года раньше работала в провинции.

– Мы узнали, что вы подыскиваете хорошую продавщицу?

Винсар переживал великое отчаяние.

– О! Это игра в невезение! Без сомнения, я искал продавщицу в течение восьми дней. Не прошло и двух часов, как я остановился на одной.

Воцарилось молчание. Дениза казалась потрясенной. Тогда Робино, смотревший с интересом, без сомнения, разжалобился ее бедным лицом, и он позволил себе поделиться информацией.

– Я знаю, что есть нужда в ком-то в отделе готового платья.

Бодю не мог сдержать крик своего сердца.

– У вас, ах! Нет, к примеру.

Далее он оставался смущенным. Дениза вся покраснела. Никогда она не осмелилась бы войти в такой огромный магазин! И мысль об этом наполняла ее гордостью.

– Почему, однако? – произнес вновь удивленный Робино. – Напротив, это будет шанс для мадмуазель. Я ей советую завтра утром представиться мадам Орелии, первой продавщице в отделе. Очень может случиться, что ее не примут.

Торговец сукном, чтобы скрыть внутреннее возмущение, отделался туманными фразами; он знал мадам Орелию, по крайней мере, ее мужа, Лёма, кассира, толстяка, чья правая рука была отрезана под колесами омнибуса. Потом, внезапно повернувшись к Денизе:

– Впрочем, это твое дело, не мое. Ты совершенно свободна.

И Бодю вышел, после того как обменялся приветственными словами с Гожаном и Робино. Винсар сопровождал его почти до двери, заново выражая свои сожаления. Молодая девушка находилась посреди магазина, запуганная, желавшая получить самую полную информацию от сотрудника. Но она не осмеливалась задать вопрос, она поприветствовала его, в свою очередь, и просто сказала:

– Спасибо, мосье.

На улице Бодю ни слова не произнес племяннице. Он быстро шел, почти стремительно бежал, как бы увлекаемый своими размышлениями. Он уже вернулся на улицу Мишудьер, когда сосед, хозяин магазинчика, стоявший у двери, знаком позвал его. В ожидании Дениза остановилась.

– Отец Бюра? – приветствовал торговец сукном.

Бюра был большой старик с головой, шевелюрой и бородой пророка, с глазами, пронизывающими вас под большими запутанными ресницами. Он торговал тростями и зонтиками, чинил их, обрабатывал ручки и даже завоевал популярность (в квартале его считали художником). Взгляд Денизы вдруг упал на полки бутика, где рядами выстроились трости и зонтики. Но она подняла глаза: дом сразу поразил ее. Лачуга между «Дамским счастьем» и гранд отелем Луи XIV! Не знаю, как выросла она в этой узкой щели, в глубину которой двумя этажами ниже врезалась. Без поддержки справа и слева лачуга бы упала, шифер на ее крыше был скособо-ченный и гнилой, на фасаде с двумя окнами, покрытом ящерицами, широкие пятна ржавчины бежали на окантовку наполовину съеденной вывески.

– Вы знаете, он написал моему домовладельцу, что хочет купить дом, – сказал Бюра, остановив гневный взгляд на торговце сукном.

Бодю побледнел и расправил плечи. Наступило молчание, и два человека оставались друг против друга в глубоком переживании.

– Надо ожидать всего! – пробормотал, наконец, Бодю.

Потом Бюра удалился, потряхивая волосами и потоком бороды.

– Кто купит дом, заплатит в четыре раза дороже его цены!.. Но я вас уверяю, что, пока я жив, у него не будет ни камня. Моей аренде еще двенадцать лет. Посмотрим, посмотрим!

Это было объявление войны. Бюра повернулся к «Дамскому счастью», к магазину, не названному прямо ни одним, ни другим.

На мгновение Бодю в молчании наклонил голову, потом пересек улицу, вернувшись к себе в магазин с разбитыми столбами, повторяя:

– Мой Бог, мой Бог!

Дениза, слышавшая весь разговор, последовала за своим дядей. Мадам Бодю также вернулась домой с Пепе и сразу сообщила, что мадам Грас возьмет мальчика, как только они захотят. Но Жан исчез, что стало беспокойством для сестры. Когда он вернулся, с оживленным лицом, со страстью говоря о бульваре, Дениза посмотрела на него с печалью, так что он покраснел. Принесли их сундук, и они улеглись сверху, на крышку.

– А как насчет Винсара? – спросила мадам Бодю.

Торговец тканями рассказал о бесполезном походе, потом добавил, что племяннице найдется место, и жестом презрения указал на «Дамское счастье», бросив:

– Ну! Вот там!

Страдала вся семья. Вечером первое застолье состоялось в пять. Дениза и двое детей заняли свои места рядом с Бодю, Женеьевой и Коломбо. Газовый фонарь осветил маленькую столовую, где стоял удушающий запах пищи. Обед прошел молчаливо. Но на десерт мадам Бодю, которая не могла оставаться на месте, покинула бутик. И тогда поток сдержанности прорвался, все облегченно вздохнули, оборачиваясь на чудовище.

– Это твое дело, ты свободна, – вновь повторил Бодю. – Мы не хотим на тебя влиять. Только если ты знаешь, какой этот дом торговли.

Отрывисто он рассказал историю Октава Мюре. Вся удача его! Мальчик – выходец с юга Франции – с обходительной смелостью авантюриста вдруг бросился в Париж, а потом – истории с женщинами, постоянная эксплуатация женщин, вопиющий скандал преступления, о чем еще говорил весь квартал. Потом внезапное и необъяснимое завоевание мадам Эдуин, которая ему принесла «Дамское счастье».

– Бедная Каролин! – прервала мадам Бодю. – Она состояла со мной в некотором родстве. Ах! Если бы она была жива, все повернулось бы по-другому. Она бы не дала бы нас убить... Это он убил ее. Да, в этом сооружении. Однажды, посещая работу, она провалилась в яму. Тремя днями позже она умерла. Она, которая никогда не болела, которая так хорошо выглядела, была так прекрасна! Ее кровь под камнями дома торговли.

Мадам Бодю через стену указала на магазин своей бледной и дрожащей рукой.

Дениза, слушавшая так, как слушают сказку фей, слегка дрожала. Страх, который у нее был с самого утра, страх осуществляемого искушения, может быть, пришел из-за крови этой женщины; она поверила теперь в красные следы в подвале.

– Говорят, что это он несет счастье, – добавила мадам Бодю, не называя Мюре.

Но торговец сукном пожал плечами, пренебрегая этой слабой выдумкой.

Он повторил свою историю, объяснив ситуацию с коммерческой точки зрения. «Дамское счастье» было основано в 1822 году братьями Делёз. После смерти старшего брата его дочь Каролин вышла за сына тканевого фабриканта Шарля Эдуина. Позже она осталась вдовой, выйдя за этого Мюре. Спустя три месяца после брака дядя Делёз, в свою очередь, умер бездетным, так что когда Каролин оставила свои кости в основании этого магазина, Мюре стал единственным наследником, единственным собственником «Счастья». Вот счастье!

– Человек идей, опасный набросок которых заставит серьезно забурлить весь квартал, если его не остановят! – продолжал Бодю. – Я полагаю, что Каролин, немного романтик душой, тоже должна была соблазниться экстравагантными проектами мосье. Короче говоря, он решил купить дом слева, потом дом справа, и, кроме того, когда он был один, купил еще два других, и магазин вырос и теперь стал таким огромным, что может теперь съесть всё.

Он обращался к Денизе, говорил для нее, с лихорадочной необходимостью самоудовлетворения пережевывая историю, которая его преследовала. В семье он был желчным, с всегда сжатыми от ярости кулаками. Мадам Бодю ничего больше не говорила, неподвижная

в своем кресле. Женевьева и Коломбо сосредоточенно ели, опустив глаза, рассеянно подбирали и жевали хлебные крошки. Сделалось так жарко, так душно в этой маленькой комнате, что Пепе уснул за столом, и даже глаза Жана закрывались.

– Терпение, – произнес Бодю, вспыхивая вдруг гневом, – мастера пусть сломают себе спины! Мюре преодолееет кризис, я его знаю. Он должен явить все преимущества в этом безумии роста и рекламы. Кроме того, чтобы найти капитал, ему нужно принять меры, он рекомендовал большей части служащих разместить у него деньги. Сегодня у него нет ни су, и, если только не случится чудо, если не утроить свои продажи, как я считаю, вы увидите, крах! Ах! Я не зол, но этот день меня просветил, слово чести!

Он продолжал мстительным голосом:

– Говорят, что упадок «Дамского счастья» восстановит достоинство опороченного бизнеса. Вы это видели? Магазин новинок, где продают все! Да это же базар! А персонал мил: куча собравших остатки воли, маневрирующих, как на вокзале, людей, обрабатывающих товары и клиентов, как пакеты, отпускающих начальника или оставляющих для него по слову, без чувств, без нравственности, без искусства. В качестве свидетеля он вдруг обратился к Коломбо: конечно, он, Коломбо, учившийся в хорошей школе, знает, как медленно и уверенно приходят к финишу через плутни ремесла. Искусство не в том, чтобы продать много, но продать дорого. К тому же, он может сказать, как заключали договоры, как они стали семьей, излечивались от болезни, белили и чинили, по-отцовски присматривали, любили, наконец!

– Естественно, – повторял Коломбо после каждой реплики патрона.

– Ты последний, мой молодец, – мягко закончил свою речь Бодю. – После тебя мы не сделаем больше. Ты один мне утешение, так как, если подобную сутолоку называют теперь торговлей, я не хочу ничего слышать, мне больше нравится идти своей дорогой.

Женевьева втянула голову в плечи, как если бы ее густые черные волосы были тяжелы для ее бледного лба, рассматривала улыбавшегося торговца, и в ее взгляде было подозрение и желание увидеть: Коломбо, работающий по совести, не покраснеет ли от таких похвал. Но парень, привычный к комедии старого торговца, спокойно, с добродушием и хитрыми складками на губах хранил свою силу.

Однако Бодю закричал громче, обвиняя эту распродажу, этих дикарей, сражавшихся между собой с борьбой за жизнь, разрушавшей семью. И он перечислял своих соседей по деревне, мать, отца, сына, служащих в магазине, людей без домашней жизни, живущих всегда вне, не евших иначе, как в воскресенье, жизнь отеля и, наконец, столование бог знает где. Конечно, его зала для обедов не была большой, можно даже пожелать ей больше воздуха и света, но, по крайней мере, его жизнь текла там, жила в нежности близких. Во время монолога его глаза сделались щелками, и, дрожа, он был охвачен непризнанной идеей о том, что эти дикари могут однажды прикончить его дом, вытеснить его из его норы, где ему было тепло с женой и дочерью. Несмотря на заверения в спокойствии, когда он объявил об окончательном крахе, он был полон внутренних мук, он хорошо чувствовал, как мало-помалу пожирается оккупированный квартал.

– Это не для того, чтобы вызвать у тебя неприязнь, – сказал он, стараясь быть спокойным. – Если тебе интересно войти туда, я первый скажу тебе «иди».

– Я хорошо подумаю об этом, дядюшка, – легкомысленно пробормотала Дениза, и желание войти в «Дамское счастье» росло в ней посреди его страсти.

С усталостью во взгляде он оперся локтями о стол.

– Ну, увидим, скажи мне, ты из провинции, это правильно, что магазин новинок торгует всем подряд? Когда-то, когда торговля была честной, новинками были прежде всего новые ткани. А теперь они хотят забраться на спину соседям и слопать их. Вот на что жалуется квартал; маленькие магазинчики начинают ужасно страдать. Этот Мюре их разрушает... Ну! Бедоре и сестра, магазин трикотажа на улице Гэйон, уже потерял большинство своих поку-

пателей. Мадмуазель Татан, белошвейка пассажи Шуазель снизила цены, сражаясь за дешевизну. И эффект бедствия, этой настоящей чумы, чувствуется почти до улицы Нов-де-Пётит-Шёмп, и мне осталось досказать, что мосье Ванпуй с братьями-скорняками не смогли выдержать удара... Увы! Коленкор, который продают за меха, это же смешно! Это тоже идея Мюре!

– И перчатки, – добавила мадам Бодю. – Разве это не чудовищно? Он осмелился создать отдел перчаток! Вчера, когда я проходила по Нов-Сэн-Огюстан, Кинет стояла у своей двери такая печальная, что я даже не стала у нее спрашивать, как идут дела.

– И зонтики, – продолжала Бодю. – Самое главное! Бюра подозревает, что Мюре просто хочет его потопить, так как, в конце концов, зонтики рифмуются с тканями. Но Бюра тверд, он не позволит себя погубить. В один из дней будем смеяться.

Он говорил и о других торговцах, сообщая новости всего квартала. Иногда сознание от него ускользало: если Винсар старается продать, ничего не остается, как взять свои пакеты, так как Винсар похож на крыс, шныряющих в домах, когда дома отживают свой век. Потом он сам себе противоречил, мечтая о союзе, о соглашении маленьких торговцев, чтобы спасти голову от колосса. До сего момента он опасался говорить о себе, маша руками, стягивая рот в нервическом тике. Наконец, он решился.

– До сих пор я не слишком много жаловался. Он меня так мучает, негодяй! Но он не имел дела ни с чем, кроме дамских тканей, легкого сукна на платье, и тканей более тяжелых, для манто. Ко мне всегда приходят покупать деловые люди, охотники, лакеи; не говорю уже о фланели и флисе, я, не боясь, могу сказать, у меня их тоже полный ассортимент. Просто он мне досаждал, полагая, что пустит мне этим кровь, потому что там, напротив, у него есть отдел драпа. Ты видела его витрины, не правда ли? Всегда есть прекрасные товары готового платья посреди обрамления из кусков драпа, настоящий парад шарлатанов, чтобы подобрать девушек. Вера честного человека! Я краснею от использования таких средств. Столетием ранее «Старый Эльбёф» это знал, и не было необходимости ловить у своей двери подобных охотников. Так что я продолжаю жить, магазин остается таким, каким я его принял, с четырьмя комнатами образцов, справа и слева, не более!

Эмоции разыгрались во всей семье. После молчания Женестьева позволила себе высказаться.

– Наши клиенты нас любят, папа. Нужно надеяться. Сегодня еще мадам Дефорж и мадам де Бове приходили... За фланелью я жду мадам Марти...

– Я, – заявил Коломбо, – получил вчера заказ от мадам Бурделе. Правда, она сказала мне об английском шевиоте, предлагаемом напротив в «Счастье» на десять су дешевле, таком же, кажется, как и у нас.

– И сказать еще по правде, – своим усталым голосом бормотала мадам Бодю, – мы видели этот дом величиной с носовой платок! Ладно, моя дорогая Дениза, когда братья Делёз обосновались здесь, была просто витрина на улице Нов-Сэн-Огюстан, с настоящим шкафом, с двумя индийскими кусками, сдавленными тремя кусками ситца. Не могли развернуться, такой маленький был магазин. В эту эпоху «Старый Эльбёф», существовавший более шести-десяти лет, был уже таким, каким ты видишь его сегодня. Ах, все меняется, очень меняется!

Она покачала головой; эти медлительные слова обнажили драму всей ее жизни. Родившаяся в «Старом Эльбёфе», она любила даже его влажные камни и жила только для него и им; и некогда шла слава об этом торговом доме, самом крепком, самом богатом и оживленном в квартале; она страдала, мало-помалу видя рост дома-соперника, сначала презируемого, потом равнодушного и важного, переполненного, грозного. Это для нее всегда было открытой раной, она умирала от унижения «Старого Эльбёфа», еще живого по силе инерции, но уже сильно чувствовалось, что близкая смерть магазина будет и ее собственной, что она погаснет в день, когда бутик закроется.

Воцарилось молчание. Бодю стучал кончиками пальцев по воценой ткани. Он испытывал усталость, почти сожаление еще раз быть спасшимся. В угнетенности всей семьи, в нервных

глазах продолжала волноваться горечь их истории. Судьба никогда не улыбалась им. Дети учились, удача пришла, когда вдруг конкуренция принесла разорение. А был еще дом в Рамбуйе, сельский дом, куда десять лет назад торговец сукном мечтал уехать на пенсию; это было античное здание, которое постоянно перестраивалось, так что решили сдать его в аренду, а арендаторы совсем за него не платили. Это было его последней надеждой, его, с его дотошной порядочностью, настаивавшего на старых правилах.

– Видите, – резко сказал он, – нужно освободить стол для других. Вот бесполезные слова!

Это было похоже на пробуждение. Газовый носик свистел, в мертвом и горячем воздухе маленькой комнаты. Все разом поднялись, охваченные молчаливой печалью. Однако Пепе спал так хорошо, что его отнесли в комнату с флисом. А Жан, который начал зевать, вернулся к уличной двери.

– И в довершение: ты делай то, что ты хочешь, – опять повторил Бодю племяннице. – А мы все это тебе сказали, вот и все. Но твои дела – это твои дела.

Он тяжело посмотрел на нее, ожидая решительного ответа. Дениза, которую этот рассказ взволновал больше из-за «Дамского счастья», вместо того чтобы отвлечься от него, смотрела спокойно и мило, в глубине души держа свое упрямое желание нормандки. Она ограничилась ответом:

– Посмотрим, дядюшка.

И она заговорила о том, чтобы лечь спать вместе с детьми, так как все трое очень устали. Но едва прозвонило шесть, ей захотелось еще побыть в магазине. Стемнело, она вышла на темную улицу, дрожа от мелкого и сильного дождя, который шел с самого захода солнца. Это казалось ей удивительным: несколько мгновений – и шоссе было в дырах луж, в ручьях грязной воды, в густой грязи, растопившей, напоившей тротуары; и под колотушку ливня, не видно было ничего, кроме смущенного парада зонтиков, толкавшихся, надувавшихся в сумраке, подобно большим темным крыльям. Она отпрянула вначале, охваченная холодом, сердце сжалось из-за плохо освещенного магазина, мрачного в этот час. Влажное дыхание, дыхание старого квартала пришло на улицу; казалось, ток воды с зонтиков бежал до самых прилавков, и мостовая, с грязью и лужами, завершала древнюю заплесневелость первого этажа, белого от селитры. Все это было образом мокрого старого Парижа, в котором она дрожала от холода, в огорченном изумлении, что нашла большой город таким холодным и уродливым.

Но с другой стороны дороги всеми огненными нитями газовых фонарей сияло «Дамское счастье», и она приблизилась к нему, заново привлеченная и словно согретая этим пламенным очагом света. Машина еще гудела, еще работала, оставляя своей последний гул, пока продавцы складывали ткани, а кассиры считали выручку. Через бледные запотевшие стекла прорастала волна ясности, весь неясный интерьер предприятия. Позади занавеса падающего дождя виднелось отдаленное размытое видение, похожее на помещение с гигантским нагревателем, где виднелись проходящие темные тени работников, под красными огнями котельной. Витрины плыли, и напротив уже невозможно было различить снега кружев, где матовое стекло газовой рампы оживало белым, и в глубине сводов с силой убирали готовое платье, большое бархатное манто, отделанное серебристой лисой, надетое на женщину-манекена без головы, бежавшую под ливнем на какой-то праздник в незнакомых сумерках Парижа.

Уступая соблазну, Дениза подошла почти к двери, не заботясь о стекавших на нее каплях дождя. В этот час ночи, при сиянии сильного огня, «Дамское счастье» целиком завершило работу. В большом городе, черном и молчаливом под дождем, в Париже, который ее не интересовал, магазин пламенел, как маяк, и, казалось, он один есть и свет, и жизнь города. Стоя там, она мечтала о своем будущем, о большой работе, для того чтобы растить детей, о других вещах, она не знала, о каких, о далеких вещах, жажда которых и страх перед которыми заставлял ее трепетать. К ней возвращалась мысль об этой умершей женщине в подвале, она боялась, она верила, что увидела бы следы крови; потом белизна кружева умиротворяла, надежда, вся

уверенность радости поднимались в ее сердце; а водяная пыль, летевшая к ней, охлаждала руки и успокаивала лихорадку движения.

– Это Бюра, – сказал голос позади, за ее спиной.

Она наклонилась и заметила Бюра, неподвижно стоящего на краю улицы, перед витриной, где она отметила утром все замысловатые преобразования, устроенные с помощью зонтиков и тростей. Крупный старик скользнул в темноту, чтобы полюбоваться этими победными витринами. Его страдающее лицо даже не чувствовало дождя, стекавшего по обнаженной голове, струившегося по седым волосам.

– Это чудовишно, – отметил голос. – Он принесет зло.

Тогда, повернувшись, Дениза увидела, что снова появился Бодю. Несмотря на Бюра, который находил все это чудовищным, Бодю тоже вернулся туда, к этому спектаклю, грызшему его сердце. Это была ярость страдания. Женестьева, очень бледная, обнаружила, что Коломбо смотрел на антресоли, на тени продавщиц, проходивших за стеклами, и, пока Бодю подавлял вернувшуюся внутреннюю обиду, глаза мадам Бодю были полны молчаливых слез.

– Не правда ли, ты завтра пойдешь представляться? – спросил торговец тканями, мучаясь неопределенностью и хорошо чувствуя, впрочем, что его племянница захвачена в плен, как другие. Она задумалась, а потом нежно сказала:

– Да, дядюшка, по крайней мере, это не принесет вам неприятностей.

Глава 2

Назавтра, в полвосьмого, Дениза уже стояла перед входом в «Дамское счастье». Она хотела представиться до того, как проводит Жана к его хозяину, который жил далеко, на высокой окраине, рядом с храмом. Но, сделав обычные утренние приготовления, она слишком потопилась появиться: продавцы только пришли, и, боясь показаться смешной, полная робости, какие-то мгновения она еще топталась на площади Гэйон.

Свистящий холодный ветер уже высушил мостовую. Со всех улиц, светящихся недолгим бледным днем под пепельным небом, продавцы живо шли, подняв воротники своих пальто, прятали руки в карманах, удивленные первым веяньем зимы. Большая часть пребывала в одиночестве, скрытая в глубине магазина, ни адресуя ни слова, ни даже взгляда своим коллегам, ступавшим вокруг них; другие входили по двое или по трое, живо разговаривая и растянувшись во всю ширину тротуара, и все, прежде чем войти, одним и тем же движением бросали свои сигары и сигареты в канаву. Дениза заметила, что некоторые из этих мосье разглядывали ее, проходя. Тогда ее робость возросла, она уже не чувствовала в себе силы войти, и она, в свою очередь, решила, что не пойдет, когда вход сотрудников закончился, покраснев от мысли, что ее вытолкают за дверь, на виду у всех людей. Но вход продолжился, и, чтобы избежать чужих взглядов, она медленно обошла площадь. Когда вернулась, она обнаружила стоящего перед «Дамским счастьем» высокого молодого человека, бледного и долговязого, который, казалось, ждал, как она, в течение четверти часа.

– Мадмуазель, – пролепетал он невнятно, – вы, может быть, продавщица в магазине?

Она так разволновалась, что слышит от этого незнакомого парня адресованные ей слова, что поначалу не смогла ничего ответить.

– Видите ли, – продолжил он, путаясь еще больше, – у меня мысль, могут ли меня взять, не могли бы вы мне что-то посоветовать.

Он был такой же робкий, как она, и рискнул подойти к ней, потому что чувствовал, что она дрожит так же, как он.

– Я бы с удовольствием, мосье, – ответила она, наконец. – Но я продвинулась не дальше, чем вы, и я здесь для того, чтобы устроиться на работу.

– Ах, очень хорошо, – растерянно сказал он.

И они оба покраснели, и две их робости на мгновение оказались лицом к лицу, растроганные родственностью их ситуаций, не осмеливаясь пожелать себе всей высоты успеха. Потом, когда оба ничего не добавили и только больше и больше стеснялись, они неловко расстались и начали ждать каждый отдельно, в нескольких шагах друг от друга.

Продавцы постоянно входили. И теперь Дениза с удовольствием наблюдала, как они проходили перед ней, кидая на нее косые взгляды. Поскольку ее смущение грозило быть отмеченным окружающими, она решила вновь обойти квартал, что заняло около получаса, когда ее еще на минуту остановил взгляд молодого человека, быстро приближавшегося по улице Порт-Маон. Очевидно, он был руководителем отдела, так как его стали приветствовать продавцы. Он был высокий, белокожий, с аккуратной бородкой. У него были глаза потускневшего золота, с бархатной нежностью, остановившиеся вдруг на ней в тот момент, когда он пересекал площадь. Уже когда он вошел в магазин, безразличный к тому, что она неподвижно стояла на месте, она обернулась на этот взгляд, полный неповторимых эмоций, где было больше беспокойства, чем очарования. Очевидно, страх возобладавал, и она решила медленно спуститься на улицу Гэйон, потом на Сэн-Рош, ожидая, что смелость вновь вернется к ней.

Это был больше, чем шеф отдела, это был сам Октав Мюре, собственной персоной. Он не спал этой ночью, так как провел ночь с биржевым агентом, ужинал с другом и двумя женщинами, снятыми в кулисах маленького театра. Его застегнутое пальто скрывало его костюм

и белый галстук. Он живо поднялся к себе, умылся, переоделся, и, когда сел за рабочий стол, в своем кабинете на антресолях, у него был твердый, живой взгляд, свежая кожа, он весь ушел в работу, как если бы проспал десять часов. Кабинет был огромный, заставленный мебелью из старого дуба, покрытой зеленым репсом, единственным украшением которого был портрет мадам Эдуин, о которой еще говорил квартал. С тех пор как ее больше не стало, Октав хранил нежные воспоминания о ней; он испытывал признательность ее памяти за судьбу, которую она даровала ему, после того как он женился на ней. Поэтому, перед тем как подписывать свои договоры из бювара, он адресовал портрету улыбку счастливого человека. Разве не перед ней он всегда работал, когда возвращался в офис, после побега от молодой вдовы, выйдя из спальни, где его сбивала с толку необходимость удовольствия?

Постучали, и, не ожидая позволения, вошел молодой человек, высокий и худой, с тонкими губами, с острым и очень правильным носом и с приглаженными волосами, среди которых показались уже седые пряди. Мюре поднимает глаза, потом продолжает подписывать бумаги:

– Вы хорошо спали, Бурдонкль?

– Спасибо, очень хорошо, – отвечает молодой человек, маленькими шагами шагая около патрона.

Бурдонкль, сын бедного фермера из предместья Лиможа, некогда начал работу в «Дамском счастье», в то же самое время, когда и Мюре (тогда магазин занимал угол площади Гэйон). Очень умный, очень активный, казалось, он должен был беспрепятственно вытеснить менее серьезного своего товарища, имел способности для быстрого ведения дел, головокружительных историй с роковыми женщинами, но он в нем не было жилки гениальности этого страстного провансальца, ни его дерзости, ни его победной грации. Впрочем, по инстинкту умного человека, с самого начала, послушно, без борьбы он преклонялся перед Мюре. Когда Мюре посоветовал своим работникам вложить деньги в магазин, Бурдонкль выполнил это одним из первых, он доверил патрону даже неожиданное наследство тетушки; и понемногу, пройдя все стадии, продавца, потом второго продавца, потом руководителя шелкового отдела, стал одним из заместителей Мюре, самым дорогим и послушным, одним из шести, кто помогал управлять «Дамским счастьем», это было что-то вроде совета министров при абсолютном монархе. Каждый из них работал, осуществляя надзор за своей «провинцией». А Бурдонкль был ответственен за главный надзор.

– А вы? – запросто произнес Бурдонкль, – как вы спали?

Когда Мюре ответил, что он вообще не ложился, тот покачал головой, пробормотав:

– Плохой режим.

– Почему? – с веселостью спросил Мюре. – Я меньше устал, чем вы, мой дорогой. У вас глаза опухли от сна, вы все усложняете, пребываете таким рассудительным... Радуйтесь, однако, это подстегнет ваши мысли!

Это всегда было их дружеским спором. Бурдонкль вначале сражался с его любовницами, потому что, как он говорил, они мешали Мюре спать, а теперь он сделался профессиональным женоненавистником, без сомнения, за пределами встреч, о которых не рассказывал, так мало места они занимали в его жизни; в магазине он довольствовался эксплуатацией клиентов, с огромным презрением к их фривольности, к обрушивающейся женской глупости. Мюре, напротив, оставаясь с женщинами восхищенным и ласковым, впадал в экстаз, постоянно вступал в новые любовные отношения, и удары его сердца стучали, как реклама на ветру, о нем говорили, что весь женский пол он обволакивал нежностью, чтобы лучше оглушить и держать в своем подчинении.

– Я видел нынче ночью мадам Дефорж, – произнес он. – На балу она была усладительна.

– Не с ней ли вы затем ужинали? – спросил партнер.

Мюре вздохнул.

– К примеру, она очень искренна, мой дорогой. Нет, я ужинал с Элоизой, младшей Де Фолье. Глупа, как гусыня, но как смешна!

Он взял другую пачку договоров и продолжил подписывать. Бурдонкль сделал несколько коротких шагов. Он кинул взгляд на улицу Нов-Сэн-Огюстан, на высокие стекла витрин, а потом, повернувшись, сказал:

– Вы знаете, что они мстят.

– Кто? – спросил Мюре, от которого ускользнул смысл.

– Ну, женщины.

Тогда он более оживился, разгадав глубину его жестокости, скрываемой под чувствительным обожанием. Пожав плечами, он заявил, что бросает всех на землю, как пустые мешки, с того дня, как они помогали ему построить его состояние. Настырный Бурдонкль повторил холодным тоном:

– Они отомстят... И будет одна, которая победит других, это судьба.

– Как не бояться! – закричал Мюре со своим провансальским акцентом. – Такая еще не родилась, мой хороший. И если она придет, знаете...

И он взял свою ручку и указал ею в пустоту, как если бы хотел пронзить ножом невидимое сердце. Партнер повторил свое движение по комнате, преклоняясь, как всегда, перед превосходством патрона, в чьем таланте было полно сбивающих с толку прорех. Он, такой цельный, такой логичный, бесстрастный, без возможности грехопадения, понимал сторону женского успеха, Париж отдает свои поцелуи самому дерзкому.

Воцарилось молчание. Был слышен скрип пера Мюре. Потом, путем смело поставленных вопросов, Бурдонкль предоставил информацию о большой распродаже зимних новинок, которая будет иметь место в следующий понедельник.

Это была очень большая сделка, от которой торговый дом мог выиграть состояние, шум в квартале имел на дне истину, и Мюре поэтично бросился в этой игре так скоро, с такой потребностью колоссального, что все трещало рядом с ним. Здесь росло новое чувство торговли, ощущение коммерческой фантазии, которая когда-то беспокоила мадам Эдуин и которая сегодня еще, несмотря на первый успех, иногда тревожила заинтересованных лиц. Шепотком обвиняли патрона, который двигался слишком быстро. Обвиняли его за опасное увеличение магазина, перед тем как посчитать достаточность прибыли; трепетали, видя, как одним ударом все деньги оказываются в кассе, как прилавки заполняются товарами, а магазин не откладывает ни су в резерв. Также по этой выставке-продаже после значительных сумм, выплаченных вкладчикам, капитал целиком находился вне, и каждый раз больше, и либо побеждал, либо умирал. И, посреди этого смятения, Мюре держит торжествующее оживление, уверенность в миллионах; в человеке, обожающем женщин, не может быть предательства. Когда Бурдонкль позволил себе сказать о некоторых страхах насчет чрезмерного развития отдела, чей товарооборот остается сомнительным, со смешливой уверенностью Мюре воскликнул:

– Однако, мой дорогой, оставьте, торговый дом слишком мал!

Другие казались изумленными, объатыми страхом, что не будет больше тайных дел. Дом торговли слишком мал! Дом новинок, где насчитывается девятнадцать отделов и четыреста три служащих!

– Но, без сомнения, – произнес Мюре, – ранее, чем через восемнадцать месяцев мы будем вынуждены расширяться. Я это серьезно говорю. Этой ночью мадам Дефорж пообещала устроить завтрашнюю встречу с одной персоной... Наконец-то мы поговорим, когда мысль созреет.

Закончив подписывать бумаги, он поднялся и пошел, чтобы похлопать по плечу заинтересованных лиц, которые трудно сдавались. Этот страх осторожных людей вокруг него его развлекал. С достаточно резкой откровенностью, которой Мюре иногда подавлял знакомых, он заявлял, что в глубине натуры более еврей, чем все евреи мира. Он унаследовал это от сво-

его отца, которого напоминал и физически, и морально; молодца, который знал цену деньгам. А от его матери у него была нить нервной фантазии, самая ясная его удача, так как он чувствовал непобедимую силу благодати и мог всего достигнуть.

– Вы знаете, что мы идем до самого конца, – заключил Бурдонкль.

Затем, прежде чем спуститься в магазин, чтобы окинуть все привычным взглядом, оба обговорили еще раз некоторые детали. Они осмотрели образец в маленькой тетради, и Мюре придумал, как использовать это в торговле. Основываясь на наблюдении за новой торговлей, этот последний заметил, что старые товары – это соловьи, удалявшиеся тем более быстро, чем выше процент с продаж, отдаваемый продавцам. В дальнейшем он заинтересовывал своих продавцов реализацией всех товаров. Он согласовывал с ними свои действия и давал проценты за малейший кусок ткани, даже за маленькую вещь, проданную ими – механизм, кипевший новизной, создававший между продавцами борьбу за существование, давал возможность начальникам извлекать прибыль. Эта борьба в его руках стала его любимой формой работы, организационным принципом, который он постоянно использовал. Он оставил страсти и положил силы на реальное дело, заменив большой обед завтраком и откармливался в этой баталии интересов. Пробный образец из тетради был одобрен: сверху выделялось замечание, находился отдел и номер продавца, то же самое повторялось с обеих сторон тетради учета, имелись колонки для метража, товара и цены. Продавец постоянно регистрировал продажи в тетради, перед тем как передать кассиру. Благодаря такому способу, контроль был самым удобным, достаточно было сверить денежные отчисления в кассе с теми, что находились в бюро учета, а также с теми, что оставались на руках продавцов. Каждую неделю последние без возможных ошибок получали свои проценты с продаж.

– У нас меньше украдут, – с удовлетворением заметил Бурдонкль. – Это была отличная идея.

– Я мечтал этой ночью о других вещах, – объяснил Мюре. – Да, мой дорогой, этой ночью, за ужином... Я желаю дать служащим офиса учета небольшую премию за каждую ошибку, которую они найдут в тетрадях продаж, сверяя их... Вы понимаете, некоторые из них не упустят из виду ничего, так как они сразу будут изобретательны.

Он улыбнулся, пока его коллега смотрел на него в восхищении. Это новая практика борьбы за существование очаровывала, он был гением административной механики, он мечтал организовать свой дом торговли таким способом, чтобы эксплуатировать чужой аппетит, для спокойного довольства и удовлетворения собственных нужд. Когда мы хотим возместить людям их усилия, – часто говорил он, – даже получить от них немного честности, нужно вначале узнать их потребности.

– Хорошо! Спустимся, – сказал Мюре. – Нужно заняться товарами на продажу. Шелк привезли вчера, не так ли? И Бутмонт должен быть в приемной.

Бурдонкль последовал за ним. Служба приема находилась в подвале, со стороны улицы Нов-Сэн-Огюстан. Там, на краю тротуара, открывалось зарешеченное стекло, где рабочие выгружали товары. Товары взвешивались, потом переходили на скользящую дорожку, где сияли, отполированные трением туюков и ящичков, дуба и фурнитуры. Все привозилось в эту сияющую дверцу. Это непрерывное зрелище, водопад тканей, которые падают с речным гулом. Во время больших продаж лента выпускала в подвал неистощимый поток: шелка Лиона, английскую шерсть, полотно Фландрии, эльзасский трикотаж, индийскую ткань из Руана, и иногда телеги становились в очередь, пакеты бежали вниз, в глубину отверстия, с глухими звуками камня, брошенного в глубокую воду.

Войдя, Мюре на мгновение остановился перед движущейся лентой. Она функционировала, ящики с товарами спускались сами, и видно было людей, чьи руки сталкивали их наверху, поэтому казалось, они двигались сами, дождем струясь из источника наверху. Потом появились тюки, поворачиваясь сами, как обкатанные камни. Мюре смотрел, не произнося ни слова,

но этот ледоход товаров, падавших перед ним, этот поток ценой в тысячи франков в минуту вызывал в его ясных глазах короткий огонек. Никогда еще у него не было осознания такой четкости начатого сражения. Это был ледоход товаров, который возник от того, что он запустил это движение из четырех районов Парижа. И, не раскрывая рта, он продолжил свое наблюдение.

Серый день пришел с широким вздохом; команда работников получала грузы, другие под наблюдением начальника отдела сбрасывали ящики и разворачивали тюки. Оживление наполняло глубину подвала, где чугунные столбы поддерживали своды, а обнаженные стены были покрыты цементом.

– Вы все получили, Бутмонт? – спросил Мюре, приблизившись к молодому человеку с сильными плечами, пытавшегося проверить содержимое ящика.

– Да, все должно быть там, – ответил последний. – Но я на утро рассчитывал.

Начальник отдела взглядом оценивал фактуру, стоя перед прилавком, на котором продавец один за другим выкладывал из ящика куски шелка. За ними выстроились другие прилавки, также загроможденные товарами, которые проверяли младшие продавцы. Это была главная распаковка, беспорядочное появление тканей, изучаемых, разворачиваемых, маркируемых, посреди жужжания голосов.

Бутмонт, который славился на своем месте, имел круглое радостное приятельское лицо, с черной чернильной бородкой и прекрасные карие глаза. Родившийся в Монпелье, гуляка и крикун, он был посредственностью в торговле; но в покупках ему не было равных. Посланный в Париж отцом, державшим здесь магазин новинок, он абсолютно отказался от возвращения родные края, наконец, пожилой отец сказал себе, что парень знает достаточно, чтобы заниматься торговлей. И когда возросло соперничество между отцом и сыном, первый, со своей маленькой провинциальной торговлей, был возмущен троекратным выигрышем простого продавца, по сравнению с тем, что мог взять он сам, а второй смеялся над старой рутинной, трезвонил о своей прибыли, волнуя этим торговый дом, каждый из его пассажиров. Как и другие начальники бухгалтерии, этот с тремя тысячами франков фиксированного дохода, имел процент с продаж. Монпелье удивленно и уважительно повторил, что сын Бутмонта имел в предшествующем году в кармане почти пятнадцать тысяч франков; люди предсказывали раздраженному отцу, что эта цифра еще будет расти.

Между тем Бурдонкль взял один отрез шелка, который начал изучать внимательным взглядом компетентного человека. Это был дефект голубой и серебряной кромки знаменитого «Счастья Парижа», которым, как считал Мюре, он мог нанести решительный удар.

– Поистине ткань очень добротна, – бормотало заинтересованное лицо.

– Она более эффектна, чем добротна, – сказал Бутмонт. Не такую ли Демонте создал для нас... В мою последнюю поездку, когда я ругался с Гожаном, тот хотел взять сто метров такого образца, но потребовал на двадцать пять сантиметров больше за метр.

Почти все месяцы Бутмонт ездил на фабрику, днями жил в Лионе, ночевал в случайных отелях, заключая договоры с производителями на открытой бирже. Он пользовался абсолютной свободой, покупая то, что казалось ему хорошим, при условии, что каждый год он будет повышать заранее оговоренную сумму товарооборота своего отдела. И для этого увеличения он даже коснулся своих процентов. В общем, его положение в «Дамском счастье», по сравнению со всеми начальниками, его коллегами, в торговом отношении, в ансамбле разных служащих этого огромного города торговли было особым.

– Итак, это решено, – произнес он, – мы оценим ткань в пять франков шестьдесят... Вы знаете, это почти цена покупки.

– Да, да, пять франков шестьдесят, – живо сказал Мюре, – Если бы я был один, я оказался бы в убытке.

Шеф отдела рассмеялся.

– О! я не прошу большего... Это утроит продажи, и, в моих собственных интересах, принесет большую выручку.

Но Бурдонкль оставался серьезным, со сжатыми губами. Это касалось процентов от общей прибыли, и его дело было не снижать цены. По правде говоря, контроль, на котором он пытался настаивать, на контроле марки, а Бутмонт уступал единственному желанию увеличить выручку от продаж, не продавая со слишком маленькой прибылью. В остальном повторялось старое беспокойство о рекламных комбинациях, которых он избегал. Он осмелился показать свое неприятие, сказав:

– Если мы им дадим за пять шестьдесят, это все равно нам в убыток, потому что нужно взимать наши значительные расходы. Станем иногда продавать по семь франков.

Вдруг Мюре разозлился. Своей раскрытой рукой он застучал по шелку, нервно воскликнув:

– Но я это знаю, вот почему я желаю сделать подарок нашим клиентам... На самом деле, мой дорогой, у вас никогда не было понимания женского ума. Поймите, однако, они будут хватать его, этот шелк!

– Без сомнения, – вмешалось упрямившееся заинтересованное лицо, – чем больше они будут хватать, тем больше мы потеряем.

– Мы потеряем несколько сантимов с одного артикула, я это хорошо знаю. А потом? Прекрасная неудача, если нам нравятся все женщины и если мы держим их в своей воле, очарованных, обезумевших перед нагромождением наших товаров, с опустошенными кошельками. Все, мой дорогой, из их сияния, и нужно это для товара, который нравится и создает эпоху. Вдруг мы сможем продать другие, такие же дорогие товары еще более, они верят, что заплатят вам по лучшей цене. К примеру, наша «Золотая кожа», тафта за семь франков пятьдесят, которая повсюду продается по этой цене, будет идти по экстраординарной возможности, и этого будет достаточно, чтобы покрыть потери от «Счастья Парижа»... Вы увидите, вы увидите!

Он становился красноречив.

– Понимаете! Я хочу, чтобы в восемь дней «Счастье Парижа» перевернуло площадь. Это дар судьбы для нас, то, что нас спасет и откроет перед нами возможности. Будут говорить только о нем, голубая и серебряная кромка будет известна от одного конца Франции до другого... И вы услышите яростные жалобы наших конкурентов. Маленькая торговля оставит там еще одно свое крыло. Все похороненные перекупщики будут страдать в своих подвалах от ревматизма!

Продавцы, которые проверяли партию товаров, слушали патрона с улыбкой. Он любил поговорить и имел на это право. Бурдонкль опять уступил. Однако ящик опустошили, и два человека отошли к другому.

– Эта работа не смешна! – сказал Бутмонт. В Лионе они ополчились против вас и хотят, чтобы ваши продажи по скидкам рухнули... Вы знаете, что Гожан определенно объявил мне войну... он поклялся открыть большие кредиты для маленьких торговых домов, вместо того чтобы принять мои цены.

Мюре пожал плечами.

– Если Гожан недалёковиден, – ответил он, – останется ни с чем. На что они жалуются? Мы платим им немедленно, мы берем все, что они производят, это много лучше, чем работа по выгодному счету. Кроме того, достаточно, чтобы этим воспользовались покупатели.

Продавцы опустошили второй ящик, пока Бутмонт указывал на куски ткани, консультируясь насчет фактуры. Другой продавец на краю прилавка пометил определенные цифры, и проверка закончилась; квитанция, подписанная руководителем отдела, должна была оказаться в центральной кассе. Еще мгновение Мюре смотрел на эту работу, на всю эту деятельность вокруг распаковки товаров, которая поднималась и угрожала затопить подвал; потом,

не добавив ни слова, с видом капитана, удовлетворенного своей командой, он удалился, следуя за Бурдонклем.

Медленно они прошли через весь подвал. Вздохи света, с места на место кидали бледную ясность. И в глубине темных углов, узких длинных коридоров постоянно горели клювы газовых фонарей. Это было в том коридоре, где находились резервы, подвал с решетками в палисадник, где разные отделы держали в тесноте свои товары. Проходя, глава торгового дома бросил взгляд на калорифер, который в первый раз включили в понедельник, и на маленькую пожарную станцию, содержащую гигантский счетчик, находившийся за железной решеткой. Здесь были кухня и столовая, старые подвалы превратились в маленькие залы и были слева, на углу площади Гэйон. Наконец, с другого края подвала он добрался до службы отправки. Пакеты, не востребованные клиентами, были спущены сюда, рассортированы на столах, разобраны на секции, каждая из которых представляла один из парижских кварталов. Потом, спускаясь по широкой лестнице прямо до самого «Старого Эльбёфа», можно было взять карету, припаркованную рядом с тротуаром. В механическом существовании «Дамского счастья» эта лестница на улицу Мишудьер, не ослабевая, извергала товары, потопленные скольжением с улицы Нов-Сэн-Огюстан, после чего они проходили наверх, через зубчатые колеса прилавок.

– Кампьон, – сказал Мюре шефу отдела доставок, старому человеку с тощей фигурой, – почему шесть пар простыней, купленных дамой вчера около двух часов, не были отправлены ей вечером?

– Где живет эта дама? – спросил служащий.

– Рю де Риволи, на углу рю Алжер... Мадам Дефорж...

В этот час прилавки сортировки были пусты. Помещение не содержало ничего, кроме нескольких пакетов, оставленных ранее. Пока Кампьон копался в пакетах, изучая книгу записей, Бурдонкль посмотрел на Мюре, воображая, что этот человек-дьявол знает все, занимается всем, даже за ужином в ресторане и в алькове с любовницами... Наконец, шеф доставки обнаружил ошибку: на ящике оказался неправильный номер, и пакет вернули.

– Из какой кассы? – спросил Мюре. – Ну? Вы говорили о кассе 10...

И, повернувшись, с интересом:

– Касса 10, это Альберт, не правда ли? Мы ему скажем пару слов.

Но прежде чем сделать обход магазина, он хотел подняться в службу отгрузки, которая занимала несколько комнат на втором этаже. Туда стекались все заказы из провинции и из-за границы, и каждое утро он заходил просмотреть корреспонденцию. Уже два года эта почта росла день за днем. И сервис, в котором был занят десяток служащих, нуждался уже более, чем в тридцати. Одни вскрывали письма, другие читали, с двух сторон одного и того же стола, третьи классифицировали и давали каждому свой порядковый номер, который записывался на шкафчике. И потом, когда письма распространялись по отделам, а отделы доставляли товары, следили за количеством и размерами этих отправок, исходя из порядкового номера, и оставалось только проверить и упаковать их в глубине соседней комнаты, где команда рабочих с утра до вечера забивала и связывала посылки.

Мюре задал свой обычный вопрос:

– Сколько с утра писем, Левасёр?

– Пятьсот тридцать четыре, сэр, – ответил шеф отдела. – После продаж понедельника, боюсь, нам не хватит людей. Вчера было много проблем.

Бурдонкль удовлетворенно закивал головой. Во вторник он не насчитал пятисот тридцати четырех писем. Вокруг на столах служащие вскрывали конверты и читали, с непрерывным шумом разрезаемой бумаги, а перед ящиками тут и там находились различные товары. Это был самый сложный и важный отдел во всем торговом доме: здесь жили под ударом бесконечной спешки, так как постоянно нужно было, чтобы все утренние заказы отправлялись вечером.

– Мы дадим необходимых вам людей, Левасёр, – заключил Мюре, взглядом констатируя хорошую работу отдела. – Вы знаете, когда есть работа, мы не отказываем в людях.

Наверху, на чердаке, находились комнаты, где сидели продавцы, но он спустился вниз и вошел в центральную кассу, расположенную рядом с его кабинетом. Это была закрытая стеклом комната, с медным окошком, в которое можно было видеть огромный сейф, прочно прикрепленный к стене. Два кассира собирали чеки, и каждый вечер поднимался Лём, первый кассир по продажам, и занимался расходами, платил фабрикантам, каждому отдельно, и всему маленькому миру, который находился в торговом доме. Касса соединялась с другой комнатой, заполненной зелеными коробками, где десять служащих проверяли счета. Далее шло еще одно бюро – бюро вычета: шесть молодых людей, склоняясь к черным конторкам, держали перед собой регистрационные книги о денежных сборах, там закрывали процент продавцов, склеивали книги сбыта. Этот совсем новый отдел работал плохо.

Мюре и Бурдонкль прошли в кассу и в отдел проверок. Когда они отошли в следующий отдел, молодые подчиненные, задрвав нос, удивленно смеялись. Тогда Мюре без упреков объяснил им систему маленькой премии, пообещав, что им будут платить за каждую ошибку, которую они найдут в приходе-расходных книгах. И когда он вышел, работники, перестав смеяться и как бы подхлестнутые этим, со страстью вернулись к работе, выискивая ошибки.

На первом этаже магазина справа Мюре подошел к кассе номер десять, где Альберт полировал свои ногти, ожидая клиентов. Обычно говорили «Династия Лёма»; с тех пор как мадам Орелия, первая продавщица в «Готовом платье», толкнула мужа на пост первого кассира, ей удалось получить кассу для своего сына, большого бледного и порочного парня, который не ничего не умел и вызывал самые сильные опасения. И, глядя на молодого человека, Мюре нахмурился; он испытывал отвращение к тому, чтобы компрометировать свое доброе имя, становясь жандармом; по вкусу и тактике он держался своей роли любимого бога. Локтем он легко коснулся Бурдонкля, человека цифр, который обычно устраивал разборки.

– Мосье Альберт, – строго сказал последний, – вы опять плохо написали адрес, пакет вернулся... Это выходит за все границы...

Кассир понял, что ему надо защищаться, и позвал в свидетели мальчика, который делал посылку. Этот мальчик по имени Жозеф, принадлежал, как и он, к той же династии, так как был молочным братом Альберта и занимал свое место благодаря влиятельности мадам Орелии. Поскольку молодой человек попытался сказать, что ошибка произошла по вине клиента, Альберт бормотал, щипал себя за бороду, удлинявшую его шитое лицо, в котором шла борьба между совестью старого солдата и благодарностью своим покровителям.

– Оставьте Жозефа в покое, – закончил кричать Бурдонкль, – и сразу не отвечайте далее... Ах! Ваше счастье, что мы уважаем заслуги вашей матери!

Но в этот момент подбежал Лём. Из его кассы, расположенной рядом с дверью, он приметил своего сына, находившегося в отделе перчаток. Уже весь седой, уставший от своей сидячей жизни, он имел вид мягкий, бесцветный, потрепанный, как деньги, которые он неустанно считал; его ампутированная рука ничуть не мешала в этой его работе, и даже любопытно было видеть, как он проверяет счета, а билеты и монеты быстро скользили в левую руку, единственную, которая у него осталась. Сын коллектора из Шабли попал в Париж как канцелярский служащий к торговцу из Порт-о-ван. Потом, поселившись на улице Кувьер, женился на дочери своего консьержа, маленькой эльзасской портнихе. И с этого дня оставался покорен своей жене, чьи коммерческие способности внушали уважение. В «Готовом платье» она сделала более двенадцати тысяч франков, тогда как он – только пять тысяч франков. И почтительность к ней, принесшей такую сумму в хозяйство, распространялась и на общего сына.

– Однако, – проговорил Альберт, – это ошибка?

Тогда в своей обычной манере на сцену вернулся Мюре, чтобы сыграть роль доброго принца. Когда Бурдонкль пугал, Мюре излечивал своей популярностью.

– Пустяк, – пробормотал он. – Мой дорогой Лём, Ваш Альберт ошеломлен, что ему приходится брать пример с вас.

Потом, переменив разговор, он сделался еще более дружелюбным:

– А концерт в тот день? У вас было хорошее место?

Краска залила лицо старого кассира. Это был его единственный грех, музыка, тайная страсть, которую он одиноко удовлетворял, спеша в театры, на концерты, на приемы; несмотря на свою ампутированную руку, он, благодаря специальным зажимам, играл на валторне. И так как мадам Лём ненавидела шум, он покрывал свой инструмент сукном, и вечером сам был почти в экстазе, восхищенный приглушенными звуками, которые издавал. Из-за вынужденного бегства от семейного очага он сотворил из музыки необитаемый остров. Музыка и деньги из его кассы – он не знал ничего другого, помимо восхищения своей женой.

– Очень хорошее место, – ответил он с сияющими глазами. – Вы слишком добры, мосье.

Мюре, который вкушал личное удовлетворение от наслаждения страстей, иногда давал Лёму билеты, которые приносили ему в клювах знакомые дамы.

И он закончил очаровывать, произнеся:

– Ах, Бетховен! Ах, Моцарт! Какая музыка!

Не ожидаясь ответа, он удалился, присоединившись к Бурдонклю, осматривавшему отделы. В центральном холле застекленного внутреннего двора находился шелк. Оба сначала проследовали на галерею улицы Нов-Сэн-Огюстан, где от края до края царило белое. Не поражаясь ничем аномальным, они медленно прошли посреди почтительных служащих, затем повернули в руанские ситцы и в чулочный отдел, где царил такой же порядок. Но в отделе шерсти, длинная галерея которой шла перпендикулярно улице Мишудьер, Бурдонкль вновь исполнил свою роль великого инквизитора, заметив молодого человека, сидевшего над подсчетами; веяло воздухом белой ночи, и молодой человек по имени Ленар, сын богатого современного торговца из Анжера, склонив лоб под выговором, имел единственный страх в своей ленивой, беззаботной и полной удовольствий жизни – быть отосланным в дом своего отца. С тех пор как сюда, как град, падали наблюдатели, в галерее на улице Мишудьер разразилась гроза. В отделе драпа продавец в паре с тем, кто был новичком и ночевал в данном отделе, вернулся после одиннадцати часов. В «Галантерее» второй продавец пришел, оставив в глубине подвала выкуренную сигарету. И сразу в «Галантерее» вспыхнула буря над головой одного из редких парижан дома торговли, красивого Миньо, которого также называли низким бастардом арфистки: его преступлением явился скандал в столовой, жалобы на экономию в еде. В торговом доме было три застолья: одно в девять тридцать, второе – в десять тридцать, третье – в одиннадцать тридцать. Он хотел объяснить, что у него на дне соус, а порции урезанные.

– Как это? пища не хороша? – спросил наивный Мюре, наконец, открыв рот.

Он давал франк пятьдесят в день на одного человека, и начальника отдела, ужасный Овернат нашел средство положить деньги себе в карман. Пища была действительно отвратительная. Но Бурдонкль пожал плечами: шеф-повар, имевший четыреста завтраков и четыреста обедов, даже в три приема, вряд ли мог работать над совершенствованием своего искусства.

– Неважно, – произнес патрон своему коллеге, – я хочу, чтобы все наши служащие имели пищу здоровую и обильную. Я поговорю с шеф-поваром.

И претензия Миньо была зарыта в землю. Итак, вернувшись к отправной точке, стоя у двери, посреди галстуков и зонтиков, Мюре и Бурдонкль получили отчет четырех инспекторов, занятых наблюдением за магазином. Отец Жуве, старый капитан, украшенный орденом Константина, еще красивый человек, с большим чувствительным носом и с великолепной лысиной, сообщил им о продавце, который на простое увещевание с его стороны назвал того «старым слабаком», и продавец немедленно был уволен.

Однако магазин оставался пустым. Только окрестные домохозяйки пересекали пустые галереи. У двери инспектор, отмечавший приход сотрудников, заново открыл свою тетрадь,

чтобы отметить опоздавших. Это был момент, когда продавцы располагались в своих отделах, которые в течение пяти часов подметали и вытирали мальчики. Каждый снимал шляпу и верхнее платье, подавляя зевоту, с лицом, еще не отошедшим от сна. Одни перебрасывались словами и смотрели на улицу, казались подавленными новым рабочим днем. Другие не спеша снимали зеленую саржу, накануне вечером покрывавшую товары, а теперь сложенную. Колонны тканей появились симметрично расставленные, весь магазин был родной и в порядке, спокойный свет в утреннем веселье ждал, чтобы суতোлка продаж забила сильнее, сжатая, как ледоход холстов, сукна, шелка и кружев.

При бодром свете центрального холла у полки с шелками тихо шептались двое молодых людей. Один, маленький и милый, с прямой спиной и розовой кожей, на внутреннем стеллаже искал нужный цвет шелка для молодоженов. Его звали Гутин, это был сын хозяина из д, Увето, и через восемнадцать месяцев он стал одним из лучших продавцов. Мягкий от природы, с постоянной льстивой лаской, пытавшийся спрятать яростный аппетит, евский все, поглощавший все, даже без голода, просто для удовольствия.

– Послушайте, Фавьер, я бы ударил его на вашем месте, слово чести! – сказал один другому, высокий желчный, сухой и желтый парень, который родился в Безансоне в семье ткачей и невольно скрывал под холодной маской тревожное желание.

– Не продвинешься вперед, если унижать людей, – равнодушно пробормотал тот. – Нужно терпеливо ждать.

Оба говорили о Робино, который надзирал за работой продавцов, пока шеф отдела находился в подвале. Гутин глухо оборвал второго продавца, место которого он хотел занять. И, чтобы ранить его и заставить уйти, в день, когда место первого продавца, которое ему пообещали, освободится, он вообразил, что Бутмонт выводит того из дома торговли. Однако Робино держался хорошо, и это было сражением каждого часа. Гутин мечтал настроить против него целый отдел, хотел изгнать его из-за худых желаний и обид. Кроме того, он действовал в добросердечном тоне, это особенно взволновало Фавьера, который пришел в торговый дом в качестве продавца и, казалось, позволял собой дирижировать, но с резкими оговорками: чувствовалась его личная кампания, проводимая в тишине.

– Тише! семнадцать! – живо сказал он своему коллеге, чтобы предупредить этим преданным криком появление Мюре и Бурдонкля.

В самом деле, эти двое, пересекая холл, продолжали свое проверку. Они остановились, попросив у Робино объяснений по поводу полок с бархатом, сложенные коробки из-под которого заполняли прилавки. И, как и должно, тот ответил, что место отсутствует.

– Я вам говорил об этом, Бурдонкль! – с улыбкой воскликнул Мюре. – Магазин уже слишком мал. Однажды нужно будет сломать стену аж до улицы Шуазель. Вы увидите давку в следующий понедельник!

Насчет выставки-продажи, о которой говорили во всех отделах, приготавливаемой на всех прилавках, он снова прервал Робино и дал ему указания. Но через несколько минут, ни слова не говоря, взглядом он последовал за работой Гутина, который задержался, отмеривая голубой шелк рядом с серым и желтым шелками, потом заново посмотрел, чтобы обсудить гармонию тонов. Вдруг вмешался Мюре:

– Но почему вы не учитесь зоркости? – спросил он. – Не бойтесь блеска! Пусть все сияет! Держите! Красное! Зеленое! Желтое!

Он взял куски ткани, бросил, помял, выхватывая яркую гамму. Патрон был первым в Париже щеголем, поистине революционером торгового дела, основателем мощной и колоссальной науки витрины. Он хотел обвала, как падают случайно опрокинутые стойки, он хотел кипения самых пламенных цветов, которые бы развивались один рядом с другим. Выходя из магазина, – говорил он, – клиенты должны чувствовать усталость глаз. Гутин, напротив, был сторонником классической школы симметрии и мелодию искал в нюансах, смотрел, как

посреди прилавка «зажигается» этот тканевый пожар, не позволяя ни малейшей критики, но губы его искривлялись в недовольной гримасе художника; такая безнравственность ранила его убеждения.

– Вуаля! – вскричал Мюре, когда закончил. – Оставьте-ка... Вы мне скажете в понедельник, если женщины повиснут на этом...

Как раз в этот момент не успел он присоединиться к Бурдонкю и Робино, как в магазине появилась женщина, на несколько секунд, вздохнув, прильнувшая к витрине. Это была Дениза. После почти часового сомнения на улице, страдая от ужасного приступа застенчивости, она решила, наконец, войти. Просто девушка потеряла голову от мысли, что не поймет самых ясных объяснений. И когда продавцы, которых она, дрожа, спросила насчет мадам Орелии, указали сразу на лестницу на антресолях, она поблагодарила, потом повернула налево, как если бы ей сказали повернуть направо, так что в течение десяти минут она стучала на первом этаже, от одной секции к другой, окруженная злым и безразличным любопытством неприятных продавцов. На этот раз у нее возникло желание спастись, и ее удерживала потребность восхищения. Она чувствовала себя потерянной, такая маленькая внутри этого чудовища, пока торговая машина находилась еще в покое, и Дениза трепетала от страха быть схваченной той, чьи стены уже трепетали. И мысль о тесном и узком магазине «Старого Эльбёфа» еще увеличивала для нее этот огромный магазин, который поднимался в золотом свете, подобно городу, с его памятниками, площадями, улицами, где, как ей казалось, она никогда не найдет свою дорогу.

Однако она не осмеливалась исследовать шелковый зал, чей высокий стеклянный потолок и роскошные прилавки создавали ощущение церкви, вызывавшей страх. Потом, когда она, наконец, вошла, чтобы избежать смеявшихся продавцов в белом, она вдруг, словно ударом прибитая, оказалась перед прилавком, где стоял Мюре. И, несмотря на смущение, женщина пробудилась в ней, щеки внезапно покраснели, она засмотрелась на пламенный огонь шелков.

– Ну? – резко сказал Гутин на ухо Фавьера на площади Гэйон.

Мюре, весь взволнованный услышанным от Бурдонкля и Робино, был польщен глубиной потрясенности, испытанной бедной девушкой, словно маркиза, возбужденная грубым желанием случайного проезжего. Но Дениза подняла глаза и смутилась прежде, чем узнала молодого человека, которого она приняла за начальника отдела. Ей показалось, что он строго посмотрел на нее. Тогда, больше не зная, как удалиться, совершенно растерянная, она еще раз обратилась к первому продавцу, к Фавьеру, который находился рядом с ней.

– К мадам Орелии, пожалуйста?

Неприятный Фавьер довольствовался ответом своим сухим голосом:

– На антресолях.

И Дениза, страстно не желая больше находиться под взглядами всех этих людей, сказала «спасибо» и повернулась спиной к лестнице, когда Гутин уступил своему естественному инстинкту любезности. Он договорился о погрузке, и это сделало его взгляд хорошего продавца любезным.

– Нет, не сюда, мадмуазель. Если вам угодно...

Он даже сделал несколько шагов подле нее, чтобы направить ее к подножию лестницы, которая находилась в холле слева. Там, склонив голову, он ей улыбнулся, улыбаясь так, как улыбался всем женщинам.

– Наверху повернете налево. «Готовое платье» напротив.

Эта милая вежливость глубоко тронула Денизу, как братская помощь, которая к ней пришла. Она подняла глаза, она рассмотрела Гутина, и все в нем ее тронуло: его красивое лицо, взгляд, улыбка, рассеявшая ее страх, голос, который, как ей показалось, звучал нежным утешением. Ее сердце распирало от благодарности, и она дала волю своему дружелюбию в бесвязных словах, которые позволили ей пробормотать ее эмоции.

– Вы очень добры... Не беспокойтесь... Тысячу раз спасибо, мосье.

Гутин уже присоединился к Фавьеру, которому сказал совсем тихо своим резким голосом:

– Ну? Какая гибкая!

Наверху молодая девушка повернула направо, в отдел готового платья. Это была огромная комната, заставленная шкафами из резного дуба, чьи открытые окна смотрела на улицу Мишудьер. Пять или шесть женщин, одетых в шелковые платья с кудрявыми шиньонами и кринолинами, откинутыми назад, разговаривали. Одна, высокая и тонкая, со слишком крупной головой, с лошадиной походкой, прислонилась к шкафу, как бы страдая от усталости.

– Мадам Орелия? – спросила Дениза.

Продавщица посмотрела на нее, не отвечая, с чувством презрения к ее бедному виду, потом обратилась к одной из товарок, маленькой, плохонькой, беленькой, с невинным и брезгливым лицом, и спросила:

– Мадмуазель Вадон, знаете ли вы, где *первая*?

Та, приводившая в порядок ретонды, распределяя их по размеру, даже не подняла головы.

– Нет, я ничего не знаю, мадмуазель Прюнер, – сказала она краем губ.

Наступила тишина. Дениза оставалась неподвижна, и никто ею не занялся. Однако, подождав мгновение, она ободрилась, чтобы задать новый вопрос.

– Полагаете ли вы, что мадам Орелия скоро придет?

И потом вторая по отделу, женщина худая и уродливая, не имевшая вида вдова, с выступающей челюстью и жесткими волосами сказала из шкафа, где она проверяла этикетки:

– Подождите, если вы лично хотите поговорить с мадам Орелией.

И спросив другую продавщицу, она добавила:

– Это не на прием?

– Нет, мадам Фредерик, я не думаю, – ответила та. – Она ничего не сказала, она не может быть далеко.

Разузнав, Дениза стояла рядом. Здесь было несколько стульев для клиентов, но, поскольку ей не предложили сесть, она не осмелилась взять один, несмотря на то что все ноги уже исходила. Очевидно, девушки пронюхали о продавщице, которая пришла знакомиться, и они усаживались на нее, раздевая ее глазами без всякой доброжелательности, с немой враждебностей людей за столом, которые не хотят потесниться, чтобы освободить место для других голодных.

Ее смущение возросло, маленькими шагами она пересекла комнату и подошла к окну посмотреть на улицу, чтобы успокоиться. Прямо перед ней «Старый Эльбёф» со своим проржавленным фасадом и отслужившими витринами показался ей таким уродливым, таким несчастным, на фоне той роскоши и жизни, которая окружала ее в этот момент, что от угрызений совести у нее сжалось сердце.

– Скажите, – шептала высокая Прюнер маленькой Вадон, – видели вы такие ботинки?

– А платье какое! – поддакивала другая.

Постоянно глядя на улицу, Дениза почувствовала голод. Но она не злилась, она не могла найти прекрасной ни одну, ни другую девушку, ни более высокую, с шиньоном рыжих волос, падавших на ее лошадиную шею, ни маленькую, с молочным оттенком лица, который смягчал ее плоское, словно бескостное, лицо. Клара Прюнер, дочь лесного работника из Виве, развращенная слугами замка шато де Марей, когда графиня брала ее для починки одежды, пришла позднее в магазин де Лангре и мстила за себя в Париже мужчинам ударами ног, какими ее отец Прюнер иссинячил ей спину. Маргарита Вадон родилась в Гренобле, где ее семья занималась торговлей тканями, и ее отправили в «Дамское счастье», чтобы скрыть *грех* – ребенка, сделанного по случаю. И она вела себя очень хорошо и должна была вернуться назад, чтобы управлять бутичком родителей и выйти замуж за ждавшего ее кузена.

– Ну, хорошо! Вот кто здесь тяжело не весит, – подхватила низким голосом Клара.

Но они замолчали: женщина примерно сорока пяти лет вошла в комнату. Это была мадам Орелия, очень крепкая, в своем черном шелковом платье, стянутом поясом, чей лиф держался на округлости крупных плеч и горла и сиял, как доспехи. Из-под темной повязки смотрели большие неподвижные глаза, у нее были строгий рот, широкие, немного висевшие щеки, и величественное лицо первой продавщицы припухло загрунтованной маской Цезаря.

– Мадмуазель Вадон, – сказала она раздраженно, – вы не доставили вчера в мастерскую модель пальто в талию?

– Нужен мелкий ремонт, мадам, – ответила продавщица, – и мадам Фредерик за ним присмотрит.

Тогда вторая продавщица вытащила модель из шкафа и начала объяснения. Все сгибались перед мадам Орелией, когда та была убеждена, что защищает свой авторитет. Очень тщеславная, до такой степени, что не хотела называться именем де Лём, именем человека, который ей досаждал, и отрекалась от дома своего отца, о котором она говорила как о портном в бутике, она не была добрым человеком для мягких и ласковых барышень, падавших перед ней от восхищения. Ранее в ателье готового платья, после которого ее счет вырос, она без конца ожесточалась, затравленная неудачами, ожесточаясь от того, что приходилось на собственных плечах нести груз судьбы, и ничего не достигла, кроме бедствий. И теперь еще, даже после успеха «Дамского счастья», где она получала двенадцать тысяч франков в год, казалось, что она хранит обиду на весь свет; она показывала твердость характера с дебютантками, так же, как в начале ее пути жизнь была жестока с ней.

– Достаточно слов! – сухо сказала она. – Вы не более умны, чем другие, мадам Фредерик. Сразу нужно было исправить.

В течение этого объяснения Дениза перестала смотреть на улицу. Она очень сомневалась, что эта дама – мадам Орелия: но, взволнованная силой голоса, она осталась стоять на месте и еще ждала. Продавщицы, увлеченные продажами первого и второго отделов, с глубоко безразличным видом вернулись к своим обычным делам. Прошло несколько минут, никто не выразил готовности помочь смущавшейся молодой девушке. Наконец, мадам Орелия сама заметила ее, изумившись ее неподвижности, и спросила, что ей угодно.

– Могу я поговорить с мадам Орелией?

– Да, это я.

У Денизы пересохло во рту, ее руки похолодели, повторился один старый детский страх, когда она боялась быть избитой. Она пролепетала свой вопрос, и ей пришлось начать сначала, чтобы ее могли понять. Мадам смотрела на нее большими остановившимися глазами, без того чтобы морщинки на ее императорской маске смягчились.

– Сколько вам лет?

– Двадцать лет, мадам.

– Как двадцать лет! Но вам не дашь и шестнадцати!

Продавщицы вновь подняли головы. Дениза сжалась, добавив:

– О! я очень сильная.

Мадам Орелия пожала своими широкими плечами, потом заявила:

– Боже мой! Я Вас запишу. Мы записываем всех, кто устраивается на работу. Мадмуазель Прюнер, дайте регистрационную книгу.

Тетрадь записей не удалось найти сразу, она, должно быть, была на руках у инспектора Жуве. Пока Клара искала тетрадь, вошел Мюре с неизменно сопровождавшим его Бурдонк-лем. Они закончили свой обход торговых прилавков на антресолях, прошли кружева, шали, меха, мебель, белье и закончили готовым платьем. Мадам Орелия на минуту отошла поговорить о ситуации с партией пальто, которая была заказана у крупных подрядчиков из Парижа. Обычно она покупала немедленно под свою ответственность, но для важных закупок предпо-

читала консультироваться с дирекцией. Вдруг Бурдонкль рассказал ей о новой небрежности ее сына Альберта, которая привела ее в отчаяние: этот ребенок ее убьет. По крайней мере, отец если не силен, то для него старается. Вся эта династия де Лём, бесспорным лидером которой она была, иногда несла ей много неприятностей.

Однако Мюре, удивленный, что вновь видит Денизу, наклонился, чтобы спросить мадам Орелию, что делает здесь эта девушка, и, когда Орелия ответила, что она ищет места продавщицы, Бурдонкль, с его презрением к женщинам, сделал глубокий вздох от этих притязаний.

– Пойдемте! – пробормотал он. – Это шутка. Она слишком уродлива.

– Дело в том, что у нее нет ничего красивого, – сказал Мюре, не осмеливаясь ее защищать, хотя он был тронут ее восхищением там внизу, перед витринами.

Но принесли регистрационную тетрадь, и мадам Орелия вновь подошла к Денизе. Она решительно не создавала хорошего впечатления. Была очень чистой, в своем тонком платье из черной шерсти; не стоило останавливаться на этой бедности костюма, так как все равно используется униформа, форменное шелковое платье. Она казалась жалкой со своим печальным лицом. Не требуя красоты в девушке, для продаж хотят приятности. И под взглядами этих дам и мосье, которые ее изучали и взвешивали, как кобылу, которую берет крестьянин на ярмарке, Дениза, наконец, потеряла самообладание.

– Ваше имя? – спросила первая продавщица, беря перьевую ручку, готовясь записать на краю стола.

– Дениза Бодю, мадам.

– Ваш возраст?

– Двадцать лет и четыре месяца.

И она произнесла, рискуя поднять глаза на Мюре, перед этим человеком, которого она считала шефом отдела, которого она постоянно встречала, чье присутствие ее тревожило.

– Я не ветреная, я очень серьезная.

Все улыбнулись. Бурдонкль с нетерпением посмотрел на свои ноги. Фраза, впрочем, упала посреди обескураживавшего молчания.

– Где вы остановились в Париже? – спросила первая дама.

– Но, мадам, я приехала из Валони.

Это было новой проблемой. Обычно «Дамскому счастью» требовались продавщицы, имевшие годовой стаж работы в одном из маленьких торговых домов Парижа. Теперь Дениза пришла в отчаяние. И если бы не мысль о детях, она бы ушла, чтобы избежать этого бесполезного допроса.

– Где вы были в Валони?

– У Корнеля.

– Я знаю, хороший торговый дом, – вырвалось у Мюре.

Никогда обычно он не принимал участия в приеме служащих на работу. Шеф отдела был ответственен за это лично. Но, со своим нежным чувством к женщинам, он ощущал в этой юной девушке таинственное очарование, силу грации и нежности, которую не замечала она сама. Хорошее имя торгового дома имело большой вес; часто оно влияло на решение о принятии на работу. Мадам Орелия продолжила свой допрос.

– А почему вы ушли от Корнеля?

– Семейные обстоятельства, – покраснев, ответила Дениза. – Мы потеряли родителей, и я должна была следить за своими братьями... Впрочем, вот сертификат.

Это было отлично. У нее появилась надежда, когда все затруднил последний вопрос.

– Имеете ли вы в Париже другие рекомендации? Где вы живете?

– У моего дяди, – пробормотала она, не решаясь назвать его, боясь, что никогда не захотят взять на работу племянницу конкурента. – У моего дяди Бодю, там, напротив.

Вдруг Мюре на секунду вмешался.

– Как? Вы племянница Бодю? Не Бодю ли вас направил сюда?

– О, нет, нет, мосье.

И она не смогла удержать улыбки, настолько идея показалась ей поразительной. Это было преображение. Она порозовела, и улыбка на немного крупных губах, была как внутреннее цветение. Ее серые глаза засияли нежностью, щеки образовали восхитительные ямочки, ее бледные волосы, казалось, взлетели в доброй и смелой веселости всего ее существа.

– Но она красива! – сказал Мюре шепотом Бурдонкю.

Заинтересованное лицо выразило несогласие, жестом показывая скуку. Клара сжала губы, тогда как Маргарита повернулась спиной. Одна только Орелия выразила одобрение кивком головы, когда Мюре сказал:

– Ваш дядя ошибся, что не привел вас сюда, его рекомендации достаточно... Мы утверждаем то, что нам хочется. Мы мыслим более широко, и, если он не занял племянницу в своем собственном магазине, ладно, мы ему покажем, что его племяннице нужно было только поступать к нам, чтобы быть принятой... Повторите ему, что я очень люблю всегда брать, и берем мы не для меня, а для нового ведения торговых дел. Скажите ему, что он перестанет тонуть, если не станет упрячиться из-за кучи смешного старья.

Дениза опять вся побледнела. Это Мюре. Никто не говорил его имени, но он назвался сам, и теперь она догадалась, теперь она поняла, почему этот молодой человек так эмоционально говорил с ней на улице, в секции шелков и вот теперь. Эти эмоции, которые она не могла прочесть, более и более тяготили ее сердце, как самый тяжелый груз. Все истории, рассказанные ее дядей, крутившиеся в ее памяти, возвышали Мюре, превращали в легенду; делали его дирижером ужасной торговой машины, которая с утра держала ее в железных зубах своих шестеренок. И позади его голова, ухоженная борода, глаза цвета старого золота, она представляла умершую женщину, эту мадам Эдуин, чья кровь спаяла камни дома торговли. Тогда она еще чувствовала холод ожидания, осознавала, что просто боится его.

Однако мадам Орелия закрыла регистрационную тетрадь. Ей нужна была только одна продавщица, а у нее уже было десять претендентов. Но, чтобы колебаться в выборе, она слишком желала угодить патрону. Однако все шло своим чередом, Инспектор Жуве изучит рекомендации, сделает свой отчет и первым предложит решение.

– Это прекрасно, мадмуазель, – величественно сказала она, чтобы закрепить свою власть. – Мы вам напишем.

Мгновение смущения еще оставляло Денизу в неподвижности. Она не знала, с какой ноги ступить посреди всех этих людей. Наконец, она поблагодарила мадам Орелию и, когда должна была пройти мимо Мюре и Бурдонкля, приветствовала их на прощание. Это, впрочем, его уже не занимало, потому что он очень внимательно собирался проверить с мадам Фредерик модель пальто в талию. Клара с жестом досады посмотрела на Маргариту, как бы желая предсказать, что новая продавщица вряд ли будет утверждена в секции. Несомненно, Дениза чувствовала в душе это безразличие и обиду, так как спускалась с лестницы с тем же сомнением, с каким вошла, объятая необыкновенной тоской, она спрашивала себя, должна ли впасть в отчаяние или радоваться, что принята. Могла ли она рассчитывать на место? Она снова начала сомневаться, испытывая беспокойство, что значительно препятствовало пониманию. Из всех ее чувств два сохранялись и понемногу заволакивали другие: глубокий, почти до страха удар, нанесенный ей Мюре, а потом дружелюбие Гутина, единственная радость в это утро, очаровательное, милое воспоминание, окутывавшее ее благодарностью. Когда она пересекла магазин, чтобы выйти, она нашла глазами молодого человека, счастливая от мысли поблагодарить его еще раз взглядом, и она загрустила, когда не увидела его.

– Ну, мадмуазель! Вам удалось найти? – с чувством спросил голос, когда она, наконец, была на тротуаре.

Она обернулась и узнала высокого, долговязого и болезненного вида парня, который обращался к ней утром. Он также выходил из «Дамского счастья» и казался более напуганным, чем она, весь ошеломленный допросом, который ему пришлось перенести.

– Боже мой! Я ничего не знаю, мосье, – ответила она.

– Вы прямо, как я. У них такая манера – смотреть на вас и говорить сверху вниз. Вообще-то я за кружевом. Я пришел от Кривекёра, с улицы Мей.

Они стояли опять одна против другого, и, не зная, как расстаться, и он, и она покраснели. Потом молодой человек, чтобы сказать еще что-то в избытке своей робости, осмелился спросить неловким и добрым тоном:

– Как вас зовут, мадмуазель?

– Дениза Бодю.

– А меня – Анри Делош.

Теперь они улыбнулись. И, поддавшись сходству их ситуаций, пожали друг другу руки.

– Удачи!

– Да! Удачи!

Глава 3

Каждую субботу, с четырех до шести, мадам Дефорж предлагала чашку чая с пирожными своим близким друзьям, которые очень хотели с ней повидаться. Квартира ее находилась на третьем этаже, на перекрестке улиц Риволи и Алжер, и окна двух ее гостиных выходили на Жардан де Тюильри. Именно в эту субботу, когда слуга проводил его в большую гостиную, Мюре заметил через прихожую, через дверь, остававшуюся открытой, мадам Дефорж, шедшую по маленькой гостиной. Она остановилась, увидев его, вошла, и он торжественно приветствовал ее. Потом, когда слуга закрыл дверь, он живо схватил руку молодой женщины, чтобы с нежностью поцеловать.

– Посмотри, там люди, – сказала она тихо, указав жестом на дверь большой гостиной. – Я пойду поищу веер, чтобы показать им.

И кончиком веера она весело слегка ударила его по лицу. Она была брюнетка, немного крепкая, с большими ревнивыми глазами. Но он следил за ее рукой и спросил:

– Он придет?

– Без сомнения, – ответила она. – Он мне обещал.

Они говорили о бароне Артмане, директоре Кредитов недвижимости. Мадам Дефорж была дочерью государственного советника, биржевого маклера, который оставил ей состояние, отрицаемое одними и раздуваемое другими. На всю жизнь, скажем мы, она была благодарна барону Артману, чьи советы великого финансиста использовала для ведения дел; и позднее, после смерти мужа, связь их продолжалась, но всегда тайно, без безрассудства и без срывов. Никогда мадам Дефорж не афишировала ее, повсюду, в среде высокой буржуазии, где она выросла, мадам принимали.

Даже сегодня, когда ее страсть к банкиру, человеку скептическому и изысканному, обернулась простым отеческим чувством, она позволяла себе иметь любовников, а он был терпим к этому; она вносила в жизнь своего сердца такую деликатную меру и такт, столь ловко владея светской этикой, что никто не позволил бы поставить под сомнение ее благородное имя. Встретив Мюре у общих друзей, она сначала возненавидела его, потом отдалась ему, как бы поддавшись внезапной любви, которой он атаковал ее, и затем устроилось так, что, держа рядом с собой барона, она все больше и больше начала испытывать к Мюре глубокую и подлинную нежность, она его обожала со страстью женщины тридцати пяти лет, не признававшейся и в двадцати девяти, отчаявшись почувствовать себя более молодой, трепеща от страха быть брошенной.

– И он в курсе? – спросил Мюре.

– Нет, вы ему сами объясните, в чем дело, – ответила она, перестав тыкать в него веером.

Она посмотрела на него и подумала, что он не должен ничего знать, чтобы держать его возле барона, чтобы Мюре считал того просто ее старым другом. Но он постоянно держал ее за руку и называл своей доброй Генриэттой, и она чувствовала, как тает ее сердце. В молчании она сжала свои губы, потом тихо сказала:

– Тсс... меня ждут. Входите после меня.

Два легких голоса звучали в большой гостиной, приглушенные драпировкой. Она толкнула дверь, оставив обе створки открытыми, и оказалась в окружении четырех дам, сидевших посреди комнаты.

– Держите, вот, – сказала она. – Не знаю, моя служанка никогда не нашла бы его.

И, обернувшись, она добавила веселым тоном:

– Однако входите, мосье Мюре, пройдите в маленькую гостиную. Это будет менее церемонно.

Мюре приветствовал дам, которых он знал. Гостиная в стиле Людовика XVI, с полупарчой букетов, с позолоченной бронзой, с большими зелеными растениями, носила отпечаток нежной интимности женщины, несмотря на высокие потолки. Из двух окон можно было видеть каштаны Тюильри, с которых октябрьский ветер сметал листья.

– Но это совсем не гадко; это шантильское кружево! – воскликнула мадам Бурделе, держа веер.

Это была маленькая тридцатилетняя блондинка, с тонким носом и живыми глазами, подруга Генриэтты по пансиону, которая вышла замуж за заместителя начальника министра финансов. Родом из старинной буржуазной семьи, она вела хозяйство и растила своих троих детей с оживлением и прекрасной грацией, с изысканным чутьем к практической жизни.

– И ты заплатила за этот лоскут двадцать пять франков? – повторила она, изучая каждый элемент кружева. – Ну? Ты говорила о Люке, о местной работнице. Нет, нет, это недорого. Но нужно, чтобы его сделали.

– Без сомнения, – ответила мадам Дефорж. – Подвеска мне обошлась в двести франков.

Тогда мадам Бурделе принялась смеяться. И это Генриэтта называет оказией! Двести франков! Простая вещь из слоновой кости, с вензелем! Для кусочка шантильского кружева, который сэкономит сто су! Найдем за сто двадцать франков те же самые веера, что у всех. Она указала на улицу Пуассоньер.

Однако веер был осмотрен всеми дамами. Мадам Жибаль едва взглянула на него. Она была высокая и тонкая, с рыжими волосами, с лицом, залитым безразличием, и серые ее глаза минутами смотрели безучастно или с ужасным эгоистическим желанием. Ее никогда не видели в сопровождении мужа, известного адвоката Дворца правосудия, который, как говорили, вел свободный образ жизни, со всеми развлечениями и удовольствиями.

– О! – пробормотала она, – протягивая веер мадам де Бове, – я бы в жизни не купила два. – Вам всегда дают слишком...

Графиня ответила с тонкой иронией:

– Вы счастливы, моя дорогая, иметь галантного мужа.

И, наклонившись к своей дочери, высокой девушке двадцати с половиной лет:

– Посмотрите на вензель, Бланш, какая красивая работа! Этот вензель должен прирастать к оправе.

Мадам де Бове подошла к сорока годам. Это была гордая женщина с видом богини, с большим правильным лицом и сонными глазами, так что ее муж, главный инспектор по коннозаводству, женился на ней за ее красоту. Она казалось взволнованной нежностью вензеля, как нахлынувшим желанием, и от этого чувства побледнел ее взгляд. И вдруг:

– Скажите мне ваше мнение, мосье Мюре. Не слишком ли дорого, двести франков за эту оправу?

Мюре оставался стоять посреди пяти женщин, улыбаясь, интересуясь тем, что их интересовало. Он взял веер, рассмотрел его и уже собирался высказаться, когда слуга открыл дверь, сказав:

– Мадам Марти.

Вошла худая уродливая дама, чье лицо было изъедено оспой, обладавшая особенной элегантностью в одежде. Она была без возраста, ей в ее тридцать пять, можно было дать и сорок, и тридцать, по нервной лихорадке, с которой она двигалась. Сумочка из красной кожи, которую она не оставила, висела на ее правой руке.

– Дорогая мадам, – сказала она Генриэтте, – вы меня простите с моей сумочкой... Представьте, ехала вас повидать и зашла в «Счастье», и какая я делаюсь безумная, я не хотела оставить это внизу, в моем фиакре, из страха, что могут украсть...

Но тут она увидела Мюре и, смеясь, произнесла:

– Ах, мосье, это не для того чтобы сделать вам рекламу, потому что я не обращаю внимания на то, что вы там работаете... В данный момент у вас там фантастические кружева...

Это вернуло внимание к вееру, который молодой человек положил на стол. И теперь дамам было необходимо увидеть, что же купила мадам Марти. Все знали за ней страсть к расходам, она была бессильна перед искушением; честная женщина, не умела уступить любовнику, но сразу трусила и покорялась за малейший кусочек тряпки. Дочь маленького клерка, она разорила своего мужа, пятого профессора в лицее Бонапарта, который должен был удвоить шесть тысяч франков, чтобы удовлетворить постоянно растущий бюджет домашнего хозяйства. И она не открывала сумочку, она держала ее на коленях, говоря о своей дочери Валентине, четырнадцати лет, одной из самых дорогих кокеток, так как та жила, как мать, со всеми новинками моды, неотразимому обольщению которых поддавалась.

– Вы знаете, этой зимой молодые девушки будут носить платья, украшенные миленьким кружевом... Правда, я видела очень красивое валансьенское... – объяснила дочь.

Мать, наконец, решилась открыть сумочку. Дамы вытянули шеи, когда в молчании послышался колокольчик из прихожей.

– Это мой муж, – пролепетала мадам Марти, полная замешательства. – Он должен был отыскать меня, когда вышел из «Бонапарта».

Она живо закрыла сумочку и инстинктивно растворилась в кресле. Все дамы рассмеялись. Тогда она покраснела от своей поспешности, вернула сумочку на колени и сказала, что все мужчины никогда не понимают и не знают, что им следует знать.

– Мосье де Бове, мосье де Валлогноск, – объявил слуга.

Это вызвало удивление, даже мадам де Бове не рассчитывала на приход супруга. Этот последний, красавец, с императорскими усами, в военном духе, любимом в Тюильри, поцеловал руку мадам Дефорж, которую знал еще молодой в доме ее отца. И отошел в сторону для другого посетителя, бледного высокого малокровного молодого человека, который смог, в свою очередь, поприветствовать хозяйку дома. Когда разговор возобновился, мужчины вдруг, слегка вскрикнули:

– Как! Это ты, Поль?

– Ну! Октав!

Мюре и Валлогноск пожали друг другу руки. В свою очередь, мадам Дефорж выразила удивление. Неужели они знакомы? Конечно, они росли рядом, в коллеже де Пляссан, и случайность, что еще ни разу они не встретились у нее.

Однако их руки постоянно сходились, они шутили в маленькой гостиной в тот момент, когда слуга на серебряном подносе, сделанном в Китае, принес чай, который был поставлен рядом с мадам Дефорж, посреди мраморного столика с легкой медной оправой. Дамы приблизились, стали более громко разговаривать, все их слова без конца были об одном и том же. Пока мосье де Бове, инстинктивно склоняясь перед ней, что-то говорил со своей чиновничьей галантностью. Огромная комната, так весело и нежно меблированная, еще более оживилась от этих болтающих голосов, заливающих смехом.

– Ах! Это старик Поль! – повторял Мюре.

И он сел на канapé рядом с Валлогноском. Одни в глубине маленькой гостиной, в очень кокетливом будуаре, затянутом шелком с золотой ручкой, вдали от чужих ушей и даже не видя дам иначе, как через открытую дверь, положив ладони на колени, они говорили глаза в глаза. Вся их юность проснулась, старый коллеж Пляссан, с двумя дворами, с влажными классами, столовая, где они ели так много трески, дортуар, где подушки летели от кровати к кровати, как только храпел «пешка». Поль, из старой семьи парламентаря, маленького дворянина, разорившегося и угрюмого, был сильным в теме, всегда первым учеником, постоянным примером в глазах профессора, предсказывавшего ему блестящее будущее. А Октав тащился в хвосте,

мог гнить среди балбесов, счастливцев и толстяков, чрезмерно растрачивая себя вне учебных стен на удовольствия.

Несмотря на разницу натур, тесное товарищество их, однако, было неразделимо до самого бакалавриата, из которого они вышли: один – со славой, другой – после двух неудачных испытаний. Потом жизнь их разлучила, и они встретились десять лет спустя уже изменившимися и постаревшими.

– Посмотрим, – сказал Мюре, – что с тобой случилось?

– Я никем не стал.

Валлогнос, в радости их встречи, сдерживал свои утомление и разочарование, и, как и его друг, Мюре поражался, настаивал, говоря:

– Наконец, ты сделал что-то хорошее...

– Ничего, – отвечал тот.

Октав принялся смеяться. Ничего – этого недостаточно. Фраза за фразой, – и он получил историю Поля, общую историю бедных молодых людей, веривших, что с рождения их долг – оставаться в свободной профессии, похоронить себя в глубине тщеславной посредственности, счастливых тем, что они не пухнут от голода, с дипломами, наполнявшими ящики. По обычаям семьи, он сохранил свои права, потом оставался жить на иждивении своей матери-вдовы, которая уже не знала, как устроить своих двух дочерей. Наконец, стыд взял верх, и, оставив трех женщин трудно жить на обломках судьбы, он приехал, чтобы занять маленькое место в министерстве внутренних дел, где был погребен, как крот – в своей норе.

– И сколько ты зарабатываешь? – спросил Мюре.

– Три тысячи франков.

– Ну, это жалкие деньги. Ах, мой бедный старик, чтобы мне сделать для тебя. Как! Такой сильный мальчик, который всех нас мог скрутить. И они не дали тебе ничего, кроме трех тысяч франков, после того как тебя дурачили в течение пяти лет! Нет, это несправедливо!

Он прервался и вернулся к самому себе.

– Я боюсь отрекомендоваться. Знаешь, кем я стал?

– Да, – сказал Валлогнос. – Мне говорили, что ты в коммерции. У тебя большой торговый дом на площади Гэйон, не правда ли?

– Это правда. Коленкор, старик.

Мюре поднял голову, постучал ладонью по колену и повторил с твердой веселостью молодца профессию, от которой разбогател.

– Сплюшь коленкор. Но честное слово, – радостно сказал Мюре. – я вряд ли понимал их механику, но в глубине я вряд ли судил глупее, чем другие. Когда я проходил моей маленькой лодкой, чтобы удовлетворить мою семью, я отлично мог стать адвокатом или врачом, как товарищи, но эти профессии вызывали у меня страх, так видим мы людей, обретших язык. Тогда, мой Бог, я кинул ослиную кожу на ветер, о! без сожаления, я с головой ушел в бизнес.

Валлогнос смущенно улыбнулся. Он закончил, пробормотав:

– Дело в том, что твой диплом бакалавра не мог тебе помочь в торговле тканями.

– Моя вера! – радостно ответил Мюре. – Все, что я прошу, чтобы это меня не смущало. – Ты знаешь, когда мы имеем глупость ходить со спутанными ногами, нелегко выпутаться. Идем в жизни черепашьими шагами, хотя другие, босыми ногами, бегут, как безумцы.

Потом заметив, что друг, кажется, страдает, он, протянув ему руку, добавил:

– Видишь, я не хочу причинить тебе боль, но признай, что твой диплом не удовлетворяет твоих запросов... Знаешь, мой начальник отдела шелка получил более двенадцати тысяч франков в этом году? Отлично! Мальчик с очень четким умом, который тверд в орфографии и четырех правилах... обычные продавцы у меня имеют три-четыре тысячи франков, больше, чем зарабатываешь ты сам, и они не стоят твоих новых инструкций, они не были призваны в мир с обещанием его завоевать... без сомнения, зарабатывать деньги – это еще не все. Просто

между бедными дьяволами науки, заполняющими либеральные профессии, без еды из голода, есть практичные мальчики, приспособленные к жизни, знающие до глубины свое дело, честное слово! я не колеблюсь, я за этих против тех, я считаю, что парни понимают красоту их эпохи!

Его голос звучал горячее. Генриэтта, разлившая чай, повернула голову. Когда он ей живо улыбнулся, в глубине большой гостиной, он заметил двух других дам, наостривших ухо, и он оживился от первой фразы.

– Наконец, старина, весь коленик сегодня – это начало кожи миллионера.

Валлогнос мягко повернулся на канapé. Он наполовину прикрыл глаза в усталой и презрительной позе, где оттенок чувства добавился к реальному утомлению его породы.

– Ба! – пробормотал он. – Жизнь не стоит такого труда. Ничто не смешно.

И поскольку возмущенный Мюре с выражением удивления посмотрел на него, он добавил:

– Все приходит и ничто не приходит. Остается только скрестить руки.

Тогда он заговорил о своем пессимизме, о посредственностях и о неудачах существования. В какой-то момент он мечтал о литературе, и от этого ему досталось общение с поэтами, полными отчаяния. Всегда он замечал бесполезность усилий, равномерную скуку пустых часов, в окончательной глупости мира. Наслаждения упускались, и не было радости даже от злых дел.

– Ну, тебе забавно? – закончил вопросом Валлогнос.

Мюре застыл в возмущении. Он воскликнул:

– Как! Если мне забавно! Ах! что ты поешь? Ты там, старина!.. Но, без сомнения, я веселюсь, даже когда вещи трещат, потому что тогда я злюсь, слыша, что они трещат. Я пылок, я не принимаю спокойной жизни, это то, что меня в ней интересует, может быть.

Он кинул взгляд на гостиную и понизил голос.

– Есть женщины, которые мне очень надоели, я в этом признаюсь. Но когда я обнимаю одну, я ее обнимаю, как дьявол! И это никогда не упускается, я никому не уступлю моей части, я тебя уверяю. Кроме того, это не женщины, над которыми я после всего смеюсь. Ты видишь, это из желания и возникает, это творчество, наконец... У тебя есть идея, ты разбиваешься для нее, ударом молотка ты обрушиваешься на головы людей, ты видишь ее рост и триумф... Ах, да, старик, я веселюсь.

Вся радость действия, вся веселость существования прозвенели в его словах. Он повторил, что это его эпоха. Поистине нужно быть плохо устроенным, иметь ущербными мозг и члены, чтобы отказаться от труда, от такой продолжительной работы, когда целый век бросается в будущее, и посреди огромной современной стройплощадки он высмеет отчаявшихся, не имеющих вкуса, пессимистов, все болезни наших новейших наук: плач поэтов, недовольные лица скептиков, прекрасную, чистую, умную роль – зевать от скуки во время труда других!

– Это мое единственное удовольствие, – с холодной улыбкой заключил Валлогнос, – зевать перед другими.

Вдруг страсть Мюре ушла. Он вновь стал любящим.

– Ах, это старый Поль, всегда тот же самый, всегда парадоксальный... Увы! Мы не можем поссориться. К счастью, каждый – при своих мыслях. Но нужно, чтобы я показал тебе мою машину в действии, ты увидишь, что это не так глупо... Давай, расскажи мне новости. Твоя мать и твои сестры в порядке, я надеюсь? И ты должен был жениться в Пляссанте шесть месяцев назад?

Внезапным движением Валлогнос остановился, беспокойным взглядом он словно обыскивал гостиную и, повернувшись, отметил, что мадмуазель де Бове не сводит с него глаз. Высокая и крепкая, Бланш напоминала свою мать, просто у последней на лице застыла загримированная маска, с грубыми чертами, неприятно жирная. Поль на сдержанный вопрос ответил, что ничего еще не сделал, может быть, даже ничего не сделает. Он познакомился с молодой

девушкой у мадам Дефорж, куда много ездил прошлой зимой и где теперь редко появлялся; этим объяснялось, как он мог не встретиться здесь с Октавом. В свою очередь, де Бове его принимали, и он особенно любил отца, старого повесу, который после административной работы вышел в отставку. Впрочем, не судьба: мадам де Бове не принесла своему мужу ничего, кроме своей красоты Юноны (семья проживала на старой заложенной ферме), к тонкой природе которой счастливо добавились девять тысяч франков, полученных графом как главным инспектором по коневодству. И эти дамы, мать и дочь, очень нуждались в средствах, которые пожирали нежные похождения графа, и иногда им приходилось самим перешивать свои платья.

– Но почему? – просто спросил Мюре.

– Боже мой! Лучше мы закончим, – сказал Валлогнос с усталым движением век. – И потом, есть надежды. Мы ждем близкой смерти тетушки.

Однако Мюре, не покидавший больше взглядом мадам де Бове, сидевшую рядом с мадам Жибаль, предупредительный, с нежной усмешкой общительного человека, повернулся к своему другу и прищурился с таким значительным видом, что последний добавил:

– Нет, не эта... Пока нет, по крайней мере... Несчастьем было то, что служба звала его в четыре разных конца Франции, в загоны с жеребцами, и он имел постоянный предлог, чтобы исчезнуть. В прошлом месяце, когда его жена считала, что он в Перпиньяне, он жил в отеле, в компании с хозяйкой фортепиано, в глубине потерянного квартала.

Воцарилось молчание. Потом молодой человек, который, в свою очередь, хотел проявить любезность по отношению к графу, тихо сказал возле мадам Жибаль:

– По моему мнению, ты прав... Тем более, что милая дама не так дика, как о ней рассказывают. Есть о ней забавная история... Однако посмотри! Он комичен, манит уголками глаз... Старая Франция, мой дорогой! я обожаю этого человека! И если я женюсь на его дочери, он сможет даже сказать, что это для него.

Очень веселый, Мюре рассмеялся. Он задал Валлогноску новый вопрос, и, когда узнал, что первая мысль о браке между ним и Бланш пришла мадам Дефорж, нашел историю еще лучшей. Это добрая Генриэтта с удовольствием вдовы женила молодых людей, и, когда она одаривала девушек, ему приходилось позволять отцам выбирать друзей в его окружении. Но это было так естественно, со всем добрым изяществом, что свет никогда не мог найти в этом тему для скандала. И Мюре, любивший в людях активность и власть, имел обычай прятать свою нежность, забывая о расчетах соблазнения и чувствуя себя лишь товарищем Генриэтты.

Генриэтта вышла за дверь маленькой гостиной из-за пожилого человека примерно шестидесяти лет, появления которого не заметили двое друзей. Дамы временами говорили довольно пронзительными голосами, что сопровождало легкое позванивание ложечек в чашках китайского фарфора; и время от времени был слышен посреди короткой тишины очень живой звук блюда, снова поставленного на мраморный столик. Показался резкий луч солнца на краю большого облака, золотивший вершины каштанов в саду, входивший в окна пылью красного золота, чье пламя сияло на полупарче обивки и мебели медной.

– Мой дорогой барон, – сказала мадам Дефорж, – я вам представляю Октава Мюре, который имеет самое живое желание засвидетельствовать вам свое огромное восхищение.

И, повернувшись к Октаву, она добавила:

– Мосье барон Артман.

Улыбка искусно ущипнула губы старика. Это был человек маленький и энергичный, с большой эльзасской головой, чье полное лицо при малейшей складке у рта, при самом легком моргании век освещалось умным светом. Последние две недели он сопротивлялся желанию Генриэтты, которая просила его об этой встрече, не потому что он испытывал чрезмерную ревность (как умный человек, он смирился с ролью отца), но потому что это был уже третий друг, которого Генриэтта стремилась ему представить, и барон немного боялся насмешки. Кроме

того, он обращался к Октаву с тайной усмешкой богатого покровителя, который, если захочет, может показать себя обаятельным, но не согласится быть обманутым.

– О, мосье! – сказал Мюре с провансальским энтузиазмом. – Последние операции Банка недвижимости были так поразительны! Вы не поверите, как я счастлив и горд, что могу пожать вашу руку.

– Очень мило, мосье, очень мило, – повторил барон, все время улыбаясь.

Генриэтта посмотрела на них без смущения, ясным взором. Она стояла между ними двумя, подняв красивую голову, глядя то на одного, то на другого в своем кружевном платье, которое покрывало ее нежную шею и запястья; у нее был восхитительный вид, и было так хорошо видеть их вместе.

– Господа, – закончила она, – я вас оставляю.

Потом, повернувшись к Полю, который стоял рядом, она добавила:

– Хотите чашку чая, мосье Валлогноск.

– С удовольствием, мадам.

И они вдвоем вернулись в гостиную.

Когда Мюре вновь занял свое место на канаве, рядом с бароном Артманом, он стал распространять новые похвалы Кредиту недвижимости. Потом он напал на тему, хранимую в сердце, и заговорил о новом взгляде на продолжение улицы Реомюр, где была открыта секция его магазина на улице Десятого декабря, между площадью Биржи и площадью Оперы. Общественное использование разрешалось на восемнадцать месяцев. Только что назначили слушание по принудительному изъятию имущества, и весь квартал взволновался от этого огромного пролета, беспокоясь о времени работ, интересуясь домами, о которых должна была идти речь. Около трех лет Мюре ждал этой работы, сначала в преддверии более активного движения дел, затем, с сильно увеличившимися амбициями, в которых не осмеливался признаться, так широка была его мечта. Поскольку улица Десятого Декабря пересекала улицу Шуазель и улицу Мишудьер, он видел «Дамское счастье» заполонившим весь сладкий кусок вокруг этих улиц и улицей Нов-Сэн-Огюстан. Он воображал уже новый вид магазина с фасадом дворца, ощущая себя властным мэтром завоеванного города. Из этого и родилось его живое желание познакомиться с бароном Артманом, когда Мюре узнал, что Кредит недвижимости, по договору с администрацией, берет на себя обязательство – прорубить и ввести в использование улицу Десятого декабря при условии, что участки с краю будут оставлены в его собственность.

– В самом деле, – произнес он, стараясь показаться наивным, – вы им передадите полностью сделанную улицу, с канавами, тротуарами и газовыми фонарями? И участки по краям будут для вас достаточной компенсацией? О, это любопытно, очень любопытно.

Наконец, он подошел к деликатному моменту разговора. Он знал, что Кредит недвижимости тайно покупает дома из того куска, где находится «Дамское счастье», не только те, которые должны были снести, но и другие, продолжавшие жить. И он пронюхал здесь проект будущего коммерческого предприятия и был очень обеспокоен этим увеличением, через которое он расширял свою мечту, и был полон страха от мысли о возможном когда-нибудь столкновении с властным «Кредитом недвижимости», который, конечно, его в свои владения не впустит. Это был страх, сразу установивший между ним и бароном связь, такую тесную между благородными людьми, которых связывала любимая женщина. Без сомнения, он мог увидеть финансиста в его кабинете, чтобы спокойно поговорить о важном деле, которое хотел ему предложить. Но у Генриэтты он чувствовал себя более уверенно, он знал, как общая связь с женщиной сближает и трогает. Быть вдвоем у нее, в этом аромате любви, быть готовым победить улыбкой, представало ему уверенностью в успехе.

– Не хотите ли вы купить отель Дювиард, это старое здание, которое так меня поражает?

– неожиданно спросил он.

Барон Артман сначала немного смешался, потом ответил отрицательно. Но, посмотрев на него, Мюре заметил на лице барона улыбку: и с тех пор Мюре играл роль доброго молодого человека, с честным сердцем, прямого в делах.

– Смотрите, мосье барон, я имел неожиданную честь встретиться с вами, нужно, чтобы я исповедался... О! я не буду просить вас раскрыть ваши секреты. Просто поделюсь с вами моими, убежденный в том, что не окажусь в более мудрых руках. Кроме того, мне необходимы ваши советы. Долгое время я не осмеливался с вами свидеться.

На самом деле он исповедался, рассказав о своих первых шагах, и он не скрыл даже финансового кризиса, который ему пришлось преодолевать посреди его триумфа. Все текло, в последовательном увеличении, прибыль постоянно возвращалась в товарооборот, в том числе – суммы, которые вносили служащие, с каждой новой сделкой торговый дом всякий раз рисковал своим состоянием, где капитал целиком был в игре, как в картежном бою. Однако это не были деньги, которых он просил, так как он имел в своих клиентках фанатичных сторонниц. Его амбиции становились более высокими, он предлагал барону объединение, при котором Кредит недвижимости внесет колоссальный дворец, который он видел в мечтах, тогда как Мюре, со своей стороны, даст свою гениальную идею и уже созданные коммерческие фонды. Оценили бы вклады, и ничто не казалось ему более легким в реализации.

– Что вы будете делать с вашими участками земли и с вашей недвижимостью? – спросил он настойчиво. – У вас есть идея, без сомнения. Но я уверен, что ваша идея не стоит моей. Обдумайте это. Мы построим на землях торговую галерею, мы разрушим и мы приведем в порядок дома, мы откроем самые большие магазины Парижа; рынок, который сделает миллионы...

И Мюре позволил вырваться крику сердца:

– Ах, если бы я мог забыть о вас, но вы сегодня держите все! И потом... я никогда не имел необходимого превосходства... Увидим, нужно, чтобы нас услышали, это будет потрясающе.

– Как у вас все идет, дорогой мосье, – довольно ответил барон Артман. – Какое воображение!

Он покачал головой, продолжая улыбаться, решив не возвращать откровенность за откровенность. Проект Кредита недвижимости был создан на улице Десятого декабря для конкуренции с роскошно оформленным Гранд-Отелем, чье центральное расположение нравилось иностранцам. Впрочем, поскольку отель должен был занимать только землю по краям, если бы барон принял идею Мюре, он подписал бы договор на огромную площадь для остальной части домов. Но он уже финансировал двух друзей Генриэтты и немного утомился от своей роли самодовольного покровителя. Затем, несмотря на страсть к деятельности, с которой он открывал свой кошелек для всех умных и храбрых мальчиков, удар коммерческого таланта Мюре поразил его больше, чем соблазнил. Не был ли это фантастической и неосторожной операцией, этот его гигантский магазин? Не рискует ли он разориться, желая так расширить коммерческие размеры торговли новинками? Не поверив, он, наконец, отказался.

– Без сомнения, идея может прельстить, – сказал он. – Просто она достойна поэта... Где вы найдете клиентуру, чтобы покрыть подобный кафедральный собор?

Мюре посмотрел на него, на минуту замолчав, словно пораженный его отказом. Это возможно? Человек такой проницательности, который чувствует деньги со всей силой! И вдруг всего одним большим красноречивым жестом он указал на дам в гостиной и воскликнул:

– Да вот она, клиентура!

Солнце бледнело. Пыль красного золота была теперь белым свечением, чье прощание затихало в шелке занавеса и в створках мебели. Это приближение сумерек и уют погрузили большую комнату в нежную теплоту. Мосье де Бове и Поль Валлогнос говорили у окон, и глаза их терялись вдалеке сада, дамы сблизились, образовав там, посредине, тесный круг из юбок, где поднимался смех, шептались слова, раздавались вопросы и пламенные ответы, со всей женской

страстью к расходам и тряпкам. Говорили о нарядах, и мадам де Бове рассказывала о бальном платье:

– Сначала прозрачный лиловый шелк, затем – старинные алансонские воланы, в тридцать сантиметров...

– О! Если бы это можно было позволить, – прервала мадам Марти. – Есть счастливые женщины.

Барон Артман, который следил за жестами Мюре, посмотрел на этих дам через дверь, остававшуюся широко открытой. Ушами он слушал, как молодой человек, воспламененный желанием победы, предавался объяснению механизмов новой коммерции. Эта коммерция теперь базировалась на непрерывном и быстром обновлении капитала, который переходил в товар в одном и том же году как можно больше раз. И в этом году его капитал в пятьсот тысяч франков прокрутился четыре раза и дал два миллиона. Гроши, впрочем, могло быть и в десять раз больше, так как он сказал, что, если кое-что сделать, позднее капитал, в некоторых секциях, вернется в пятнадцать-двадцать раз.

– Вы слышите, мосье барон, вот и вся механика. Все это очень просто, но нужно ее найти. У нас нет необходимости в крупных оборотах средств. Наше единственное усилие – очень быстрое избавление от купленных товаров, чтобы освободить место для других, мы пытаемся вернуть капитал во много раз и в свою пользу. Таким образом, мы довольствуемся и маленькой прибылью, наши общие затраты поднимаются до огромной цифры в шестнадцать процентов. Мы имеем прибыли не более двадцати процентов, однако эта прибыль на четыре процента больше; просто это заканчивается ковкой миллионов, если мы будем иметь дело с качественными товарами, которые будут без конца обновляться... Вы следите за рассуждением? Не правда ли, нет ничего более ясного.

Барон снова тряхнул головой. Он, одобрявший самые смелые комбинации, на которые ссылались, как на безрассудства, когда были первые попытки газового освещения, теперь оставался обеспокоенным и упрямым.

– Я внимательно слушаю, – ответил барон. – Вы продаете товары, чтобы продать больше, и вы продаете больше, чтобы продать дешевле... Просто нужно продавать, и я вернусь к моему вопросу: кому вы продаете? Как вы надеетесь наладить такие колоссальные продажи?

Резкие нотки голоса зазвучали в гостиной, прервав объяснение Мюре. Это мадам Жибаль предпочитала воланы старого Алансона только на передниках.

– Но моя дорогая, – сказала мадам де Бове, – передник тоже ими покрыт. Никогда не видела ничего более роскошного.

– Постойте! Вы дали мне идею... – произнесла мадам Дефорж. – У меня уже есть несколько метров алансонских... Нужно, чтобы я подыскала для украшения...

И голоса пропали, так как перешли на бормотание. Цифры звенели, торг подстегивал желания, дамы полными руками покупали кружева.

– Эх! – сказал, наконец, Мюре, когда смог говорить, – мы продаем то, что мы хотим, поскольку умеем продавать! В этом наш успех.

Затем, со своим провансальским остроумием, горячими фразами он, выхватывая образы, показывал новую коммерцию в работе. Это была возможность сначала десятикратного роста, все товары аккумулировались в одной точке, поддерживались и выталкивались на продажу; никакого прекращения работы, всегда продавались сезонные товары; в отделе за отделом, клиент был соблазнен, покупал здесь ткань, дальше – нитки, дальше – манто, одевался, потом оказывался перед неожиданной встречей, подчинялся бесполезной и красивой необходимости. Затем он торжественно славит известную торговую марку. С этой работой идет огромный переворот в торговле новинками, если старая торговля, малая коммерция в упадке и не может поддержать борьбу за снижение цен, надо зарабатывать на бренде. Теперь конкуренция происходит даже на глазах у публики. Проход между торговыми рядами устанавливал цену. И каж-

дый магазин снижал ее, готовый к более легкой возможной прибыли; никакого мошенничества, ни ударов судьбы, ни долгого раздумья по поводу ткани, продаваемой вдвое дороже ее цены, – но быстрые денежные операции, надежный процент, отчисляемый со всех наименований товаров, удача в правильном функционировании продаж, кроме самой широкой, которой она станет в один великий день. Разве это не потрясающая модель? Она будоражила торговлю, видоизменяла Париж, так как была сотворена из плоти и крови женщины.

– У меня есть женщина, а все остальное неважно, – мог бы сказать Мюре в жестком признании, чья страсть могла исторгнуть подобный крик.

Этот крик, казалось, поколебал барона Артмана. Его улыбка потерялась в иронии. Он посмотрел на молодого человека, мало-помалу подчиняясь его вере, готовый на начало доверия.

– Ш-ш-ш, – пробормотал он отечески. – Они могут нас услышать.

Но дамы говорили теперь все разом, такие возбужденные, что даже не слушали друг друга. Мадам де Бове закончила описание вечернего наряда: лиловой шелковой туники, поддерживаемой кружевными бантами, с очень низко декольтированным лифом и с кружевными бантами на плечах.

– Видите, – сказала она, – я пытаюсь сделать себе подобный лиф из атласа.

– Что касается меня, – прервала ее мадам Бурделе, – я бы хотела бархатный...

– О! вот возможность...

Мадам Марти спросила:

– Ну, а сколько шелка?

Потом все голоса вновь сошлись вместе. Мадам Жибаль, Генриэтта, Бланш измеряли, резали, разрушали. Это было разграбление тканей, охота на магазины, роскошный аппетит, распространявшийся на завидные и воображаемые наряды, на счастье такого существования в тряпках, погрузившись в которое они жили, в таком нежном, необходимом воздухе своего существования.

А между тем Мюре бросил взгляд на гостиную. И несколькими фразами, сказанными в ухо барону Артману, как если бы он делал любовное признание, на которые отваживаются иногда между людьми, он закончил объяснять механизм современной большой коммерции. И тогда еще выше, чем уже шли дела, на вершине, замерцала эксплуатация женщины. Там все заканчивалось, капитал без конца обновлялся, система выброски товаров, дешевых нравящихся цен, торговых марок успокаивала. Это была женщина, за которую боролись магазины, женщина, которую захватывали в долговременную ловушку их возможностей, одурманенная прилавками. Они пробудили в ее плоти новые желания, они были огромным искушением, когда она фатально не выдерживала, соблазняясь сначала покупкой хорошей хозяйки, потом победенная своим кокетством, потом уже оно пожирало ее. Удешевленные продажи, в демократизации роскоши, стали ужасным возбудителем трат, разрушавшим сбережения, работавшим под ударом безумия моды, всегда более дорогой. И если у них женщина была королевой, восторгающейся и обласканной в этой своей слабости, окруженной вниманием, она царила в любовном царстве, чьи сюжеты продавались, она платила каплями своей крови за каждый из своих капризов. Под грацией галантности Мюре проносил с собой силу еврея, продававшего женщину за фунт: он поднял для нее храм, он окурив ее легионом продавцов, создал обряд нового культа; он думал только о ней, что она будет искать и воображать, без остановки отыскивая самые грандиозные соблазны; и, когда он опустошал карманы и у него расшатывались нервы, перед ней он был полон тайного презрения человека, отдавшись которому, возлюбленная приходит сделать глупость.

– Купите женщин, – очень тихо сказал барон, вызываясь смеясь, – вы продадите мир!

Теперь барон понял. Несколько фраз было достаточно, чтобы догадаться об остальном, и такое галантное добывание выгоды расшевелило в нем его былую живость. С умным видом

он слегка моргнул и закончил тем, что стал восхищаться изобретателем этой механики, пожирающей женщин. Это очень сильно. Он вспомнил слово Бурдонкля, от которого тоже повеяло старым опытом.

– Вы знаете, они наверстают упущенное.

Но Мюре пожал плечами, стремясь скрыть презрение. Все, что ему принадлежало, было его вещью, и ничьей более. Когда он тянул из них свои деньги и свое удовольствие, он кидал их потом в кучу, на край, для тех, кто мог еще найти в этом свою жизнь. Это было обдуманное презрение южанина и игрока.

– Хорошо, мосье, – спросил он в заключение. – Хотите ли вы быть со мной? Кажется ли вам возможным бизнес с землями?

Барон, наполовину завоеванный, колебался, заниматься ли таким делом. В глубине очарования, которое понемногу овладевало им, оставалось сомнение. Он готов был ответить уклончиво, когда властный зов одной из дам предохранил его от этого труда. Голоса повторились, вперемешку с легким смехом:

– Мосье Мюре! мосье Мюре!

И так как он, не желая быть прерванным, тот притворялся, что не слышит, мадам де Бове, стоя какое-то время, подошла почти к двери маленькой гостиной.

– Мы хотим вас забрать, мосье Мюре... Это неучтиво похоронить себя в углу, говоря о делах.

Тогда барон решил, с очевидно добрым чувством, с тоном восхищения, пораженный. Оба поднялись и пошли в большую гостиную.

– Ну, дамы, я в вашем распоряжении, – сказал Мюре, входя, с улыбкой на губах.

Раздался гомон успеха. Он должен был дальше двигаться вперед, дамы освободили ему место в своем кружке. Солнце садилось за деревьями сада. День завершался. Это был час ожидания сумерек, молчаливая минута наслаждения в парижских апартаментах, между ясностью уходившей улицы и лампами, еще зажженными в учреждениях. Мосье де Бове и Валлогнос, все время стоя у окна, отбрасывали на ковер силуэты своих теней. И в это же время неподвижный в последнем глотке света, шедшего из другого окна, несколькими минутами ранее незаметно вошел мосье Марти, явив свой бедный профиль, чистый и тесный сюртук, с профессорским бледным лицом, так что разговор дам о нарядах прекратился.

– В ближайший понедельник эта распродажа? – спросила мадам Марти.

– Ну, без сомнения, мадам, – ответил Мюре льстивым голосом, голосом актера, который он использовал, говоря с женщинами.

Тогда вмешалась Генриэтта.

– Вы знаете, мы придем все. Говорят, что вы готовите чудеса.

– О! чудеса! – пробормотал он в тоне самодовольной скромности. – Я просто постараюсь быть достойным вашего одобрения.

Но они забросали его вопросами. Мадам де Бове, мадам Жибаль, Бланш – все хотели знать.

– Посмотрим, дайте нам подробности, – с настойчивостью повторяла мадам де Бове. – Мы умрем от любопытства.

И они окружили его, когда Генриэтта заметила, что он не успел выпить даже чашку чая. Тогда это привело дам в отчаяние. Четыре из них уже готовились напоить его чаем, но при условии, что он сразу ответит на вопросы. Генриэтта наливала, мадам Марти держала чашку, пока мадам де Бове и мадам Бурделе спорили о том, кто из них добавит сахару. Потом, когда он отказался присесть и начал медленно пить чай, стоя посреди них, все приблизились и сделали его узником в тесном кругу их юбок. Голова поднята, глаза сияют, дамы ему улыбаются.

– Что Ваш шелк, Ваше «Счастье Парижа», о котором говорят во всех газетах? – нетерпеливо произнесла мадам Марти.

– О! ответил он. – Необычайный товар. Крупной структуры... Мягкий, ноский. Вы, дамы, его увидите, вы не найдете его, кроме как у нас, так как мы покупаем только эксклюзив.

– Правда! Прекрасный шелк по пять франков шестьдесят, – сказала мадам Бурделе с энтузиазмом. Невозможно поверить.

Этот шелк, с тех пор как была запущена реклама, занимал в их повседневной жизни значительное место. О нем говорили, они себе его обещали, пытались желать и сомневаться. И в болтливом любопытстве, которым они окружили молодого человека, отображались их особенные темпераменты: мадам Марти была поглощена неистовством своим расходов, она покупала в «Дамском счастье» все без разбора, на первых попавшихся витринах; мадам Жибаль прогуливалась в магазине часами, никогда не совершая покупку, счастливая и удовлетворенная, что преподносит простой дар своим глазам; мадам де Бове сжимала деньги, мучась слишком большим желанием, держа обиду на торговцев, что она не может взять все это с собой; мадам Бурделе, с мудрой и практичной буржуазностью, шла прямо к своей удаче, исхаживая большие магазины с чувством хорошей домохозяйки, чуждая лихорадке, и добивалась больших сбережений. Наконец, Генриэтта, которая была очень элегантна, покупала там только некоторые товары: перчатки, трикотаж, белье.

– У нас есть потрясающие ткани, по хорошей цене и хорошего качества, – продолжал Мюре своим очаровывающим голосом. Также я рекомендую вам нашу «Золотую кожу», тафту с несравненным блеском. Среди причудливых шелков есть очаровательные, нашими закупщиками рисунки выбираются меж тысяч. И, как и среди бархата, вы найдете самую богатую коллекцию нюансов. Я вас предупреждаю: в этом году мы привезем много драпа. Вы увидите наш флис и шевиот... Они не прерывали его больше, они еще теснее обступили его, их рты осветились расплывчатыми улыбками, лица приблизились и вытянулись, словно в стремлении всего существа к искусителю. Их глаза побледнели, легкий трепет пробежал по их затылкам. Он следил за этим со спокойствием завоевателя, посреди волнующих запахов, поднимавшихся от их волос. Маленькими глотками, между каждой фразой он продолжал пить чай, чей аромат притягивал эти самые терпкие запахи, еще более острые, и в этом было что-то хищное. Перед этим столь любовным соблазнением, достаточно сильным, чтобы играть с женщинами, не опьяняясь тем, что они источают, барон Артман, не отводивший взгляда, почувствовал свое огромное восхищение.

– Итак, наденем драп? – спросила мадам Марти, чье постаревшее лицо украсилось страстью кокетства. – Нужно, чтобы я увидела.

Мадам Бурделе, следившая за всем своим ясным взглядом, сказала, в свою очередь:

– Не правда ли, продажа купонов в четверг у вас? Я подожду. Я одену всех моих малышей.

И повернувшись русой головой к хозяйке дома:

– А ты? Это твоя Савёр, твоя Савёр тебя одевает?

– Мой Бог, да, – ответила Генриэтта. – Савёр очень дорогая, но нет больше никого в Париже, кто знает, как сделать лиф платья... И потом мосье Мюре прекрасно сказал, у нее самые красивые рисунки, рисунки, которые мы не видим больше нигде. Я не хочу страдать, оттого что могу увидеть мое платье на плечах всех других женщин.

Мюре сначала таинственно улыбнулся. Потом он бросил намек, что мадам Савёр купила у него эти ткани. Без сомнения, некоторые расцветки она брала прямо у фабрикантов, убедившись в их качестве. Но с черными шелками она поймала оказию «Дамского счастья» и сделала значительные запасы, которые сбывала, удваивая и утраивая цену.

– Таким образом, я убежден, что люди у нее берут наше «Счастье Парижа». Почему вы хотите, чтобы она платила за этот шелк на фабрике дороже, если она может заплатить у нас? Но слово чести: мы ей даем себе в убыток.

Это был последний удар, нанесенный этим дамам. Идея торговли в убыток резче подстегивала в них женщину, чье наслаждение покупательницы удваивалось, когда она верила, что грабит продавца. Мюре знал, что они не могут устоять перед дешевыми ценами.

– Но мы продаем все за ничто! – воскликнул он весело, держа перед собой веер мадам Дефорж, оставленный на столике. – Ну! Вот этот веер. Вы скажете, за сколько он?

– Шантильское кружево – за двадцать пять франков, а оправа – двести, – сказала Генриэтта.

– Хорошо. Кружево недорогое. Однако у нас есть и за восемнадцать франков. Что касается оправы, мадам, то это чудовищное воровство. Я не осмелюсь продать подобное дороже, чем за девяносто франков.

– Я так и сказала! – воскликнула мадам Бурделе.

– Девяносто франков! – пробормотала мадам де Бове. – Нужно поистине не иметь ни су, чтобы обойтись без этого.

Она опять взяла веер, стала заново изучать со своей дочерью Бланш, и на ее большом правильном лице в широких сонных глазах появилось отчаянное и сдерживаемое желание каприза, который она не могла удовлетворить. Потом, через секунду, веер прошел через руки всех дам, сопровождаемый восклицаниями и восхищением. Но мосье де Бове и Валлогнос отошли от окна. Первый вернулся, разместившись рядом с мадам Жибаль, взглядом окидывая лиф ее платья; молодой человек, со своей привычкой воспитанности и превосходства, склонился к мадам Бланш, стараясь найти любезное слово.

– Мадмуазель, не правда ли, эта белая оправа с черными кружевами немного печальна.

– О, я, – ответила она очень серьезно, не краснея своим пышным телом. – я видела перламутр и белые перья. В этом что-то непорочное!

Мосье де Бове, удивленный, без сомнения, раненым взглядом, с которым его жена следила за веером, вставил, наконец, свое слово в общий разговор.

– Эта маленькая штучка очень быстро сломается.

– Не говорите! – провозгласила прекрасно-рыжая мадам Жибаль с недовольной гримасой, играя в безразличие. – Мне придется переклеить мои веера.

Через мгновение мадам Марти, очень возбужденная разговором, на коленях лихорадочно перевернула свою кожаную красную сумочку. Она не могла еще показать покупки, но в какой-то чувственной необходимости горела желанием пощеголять ими. И вдруг она забыла о своем муже, открыла сумочку и вытащила несколько метров узких кружев, намотанных на кусочек картона.

– Это валансьенские, для моей дочери, – сказала она. – Они в три сантиметра и превосходные, не правда ли? Франк девяносто.

Кружево переходило из рук в руки. Дамы переговаривались. Мюре утверждал, что продает эту маленькую отделку по фабричной цене. Однако мадам Марти вновь закрыла сумочку, словно желая спрятать в ней вещи, которые нельзя показать. Но после валансьенского успеха она не могла отказать себе в желании извлечь из нее и платок.

– Есть еще такой платок... С брюссельской отделкой, моя дорогая... О! Какая работа! Двадцать франков!

И с этого момента сумочка стала неиссякаемой. Мадам Марти покраснела от удовольствия, стыдливостью женщины, которой раздевание вернуло очарование и смущение, и так с каждым новым товаром, который она доставала. Это был белый испанский галстук за тридцать франков; она не хотела покупать, но продавец ей клялся, что она держит последний и что их поднимут в цене. И вдруг – вуалетка с шантильским кружевом, немного дорогая, за пятьдесят франков. Если бы она не взяла ее, она бы что-то сделала для своей дочери.

– Боже мой! Кружева – это так красиво! – повторяла она с нервным смехом. Я, когда я там, внутри, скупила бы весь магазин.

– И это? – спросила мадам де Бове, изучая отрез гипюра.

– Это, – ответила она, – это в промежутке. Двадцать шесть метров. Франк за метр, понимаете!

– Держите, – сказала с удивлением мадам Бурделе. – Что вы хотите сделать?

– Ну, я пока не знаю... Но он с таким забавным рисунком!

В этот момент, когда она подняла глаза, она увидела лица своего обьятого ужасом мужа. И вся его личность выражала тоску бедного смирившегося человека, который принимает участие в разорении его жалованья. Каждый новый отрезок кружев был для него катастрофой, горькими днями, потопленными в профессорской работе, в курсах с отпечатками мучительной грязи, в непрерывных усилиях его завершающейся жизни, приводящих к тайному смущению адом необходимой совместной жизни.

Из страха встретиться взглядом с мужем мадам Марти хотела снова схватить платок, вуалетку, галстук, она лихорадочно прогуливалась по ним руками и с неловким смехом повторяла:

– Меня будет ругать мой муж... Я тебя уверяю, мой друг, что я была еще очень умеренна, так как имелась еще крупная купюра в пятьсот франков, о! удивительно!

– Почему же вы не купили? – спокойно спросила мадам Жибаль. – Мосье Марти – самый галантный из мужчин.

Профессор должен был склонить голову и сказать, что его жена совершенно свободна. Но от мысли об опасности этой большой купюры холодный лед пробежал по его спине. И так как Мюре всегда утверждал, что новые магазины повышают благосостояние средней буржуазии, он пронзил Мюре ужасным взглядом, освещенным робкой ненавистью, которая не осмеливается задушить.

Впрочем, эти дамы не оставляли кружев. Они опьянились. Отрезки кружев переворачивались, разворачивались, передавались от одной к другой, вновь приближались, сияли легкими нитями. Когда их руки виновато запаздывали, нежная ткань чудесной тонкости была у них на коленях. И они еще более тесно, как узника, окружили Мюре, ставя перед ним новые вопросы. Поскольку день постепенно гас, минутами они склоняли головы, и он касался своей бородой их волос, чтобы проверить ткань, отметить рисунок. Но в этом наслаждении мягких сумерек, посреди разгоряченного запаха их плеч, он оставался их мэтром, окруженный восхищением, которое он так любил. Он был женщиной, они чувствовали себя пронзенными и соблазненными его нежным чувством, он владел тайной их существа, и они, обольщенные, сдавались в плен; а он, уверенный в своей благодарности, появлялся, безжалостно царствуя над ними, как деспотичный король тряпок.

– О мосье Мюре, мосье Мюре! – бормотали они, шепча и замирая в глубине сумрачной гостиной.

Белизна гаснущего неба затихла в медных украшениях мебели. И только кружева хранили снежные отражения на темных коленях дам, чья смущенная группа, казалось, сбилась вокруг молодого человека волнами набожного коленопреклонения. Последний луч просиял на боку чайника. Короткий и живой огонек ночника горел в алькове, притягивающем ароматом чая. Но вдруг с двумя лампами вошел слуга, и все очарование прервалось. Гостиная проснулась, ясная и веселая. Мадам Марти разместила кружева в глубине своей небольшой сумочки. Мадам де Бове еще ела ромовую бабу, пока Генриэтта, поднявшись, вполголоса заговорила с бароном.

– Он очарователен, – сказал барон.

– Не правда ли? – ей хотелось пуститься бежать, с произвольным влюбленным женским возгласом.

Он улыбнулся и посмотрел на нее с отцовской снисходительностью. Это был первый раз, когда он почувствовал себя побежденным и слишком снисходительным для страдания; он про-

сто проявил сочувствие, видя руки этого бравого молодца, такие нежные и столь безупречно прохладные. И он посчитал своим долгом предупредить ее и пробормотал шутливым тоном:

– Осторожнее, моя дорогая, он у вас съест всё.

Пламя ревности засветилось в прекрасных глазах Генриэтты. Она, без сомнения, знала, что Мюре просто использует ее, чтобы приблизиться к барону. И она поклялась свести его с ума от любви, его, для кого любовь была легким очарованием песни, брошенной всем ветрам.

– О! – ответила она, возбужденная его шутливым тоном. – Это всегда агнец, готовый съесть волка.

Тогда очень заинтересованный барон сделал ободряющий знак головой. Может быть, она была женщиной, которая должна была прийти и отомстить.

Когда Мюре, после того как повторил Валлогноску, что хочет показать свою «машину» в рывке, подошел к барону, чтобы попрощаться, тот удержал его у светящегося окна, лицом к темному, сумрачному саду. Увидев молодого человека посреди этих дам, барон, наконец, уступил соблазну, к нему пришла вера в Мюре. Они оба на мгновение заговорили вполголоса. Потом банкир провозгласил:

– Хорошо, я проверю дела... Контракт будет заключен, если ваши продажи в понедельник примут тот важный оборот, о котором вы говорите.

Они пожали друг другу руки, и Мюре ушел в восхищении; он плохо ужинал, если не заходил вечером окинуть взглядом выручку «Дамского счастья».

Глава 4

В этот понедельник ясное победное солнце пронзило облака, которые неделей ранее омрачали Париж. Всю ночь еще моросило, водяная пыль своей влажностью покрывала улицы; но ранним утром под живым дыханием, которое унесло облака, тротуары осушились, и голубое небо приобрело яркую весеннюю веселость.

Так же и «Дамское счастье» в восемь часов запылало лучами яркого солнца в славе грандиозной распродажи зимних новинок одежды. Сукно проплывало в дверях, отрезки шерсти пульсировали свежестью утра, оживляя площадь Гэйон гамом ярмарочного праздника; а в это время на двух других улицах витрины разрабатывали свою симфонию, чья стеклянная отточенность еще более оживляла сияющие ноты оттенков, расточительство цвета, радость улицы, прорвавшуюся во все уголки широкого дома торговли, где каждый может потешить себя.

Но в этот час было мало народа: несколько деловых клиентов, домохозяек, женщин, желавших избежать послеобеденной давки. За тканями, которыми он был вымощен, чувствовался пустой магазин, готовый под ружье и ждущий деятельности, с навоощенным паркетом, с прилавками, покрытыми товарами. Толпа, спешащая утром, немного глазела на витрины, не замедляя своего шага. На улице Нов-Сэн-Огюстан и на площади Гэйон, где располагались кареты, еще никого не было в девять часов, кроме двух фиакров. Только обитатели квартала, главным образом, маленькие коммерсанты, взволнованные таким развертыванием разрекламированных тканей и щегольством, стояли группами под дверями, на углах тротуаров, с поднятыми носами, полные горьких замечаний. То, что их возмущало, так это улица Мишудьер, перед бюро отправки товаров, и одна из четырех карет, которые Мюре запустил в Париже: карет с глубокой зеленой подкладкой, с желто-красным орнаментом, чьи стены были сильно отлакированы золотым и пурпурным сиянием солнца. Там со всей новенькой пестротой сияло имя торгового дома, написанное на каждой из сторон и, кроме того, возвышалась табличка, анонсировавшая продажи дня, откуда двинулась рысью первая великолепная лошадь, когда было завершено заполнение пакетов, составленных ранее; Бодю, который бледнел на пороге «Старого Эльбёфа», глядел под сиянием звезд на движение через весь город кареты с ненавидимым им названием магазина «Дамское счастье».

Однако несколько фиакров прибыли и встали в очередь. Каждый раз, когда приближался клиент, возникало движение среди мальчиков магазина, помещенных перед высокой дверью, одетых в ливреи, куртки и ярко-зеленые панталоны, с жилетом с желтыми и красными полосками. И инспектор Жуве, старый капитан в отставке, был там, в сюртуке и в белом галстуке, как с украшением, словно со знаком настоящей честности, принимавший дам в важно вежливом духе, склоняясь перед ними, чтобы указать на нужные витрины. Потом они исчезали в вестибюле, превратившемся в восточную гостиную. У двери также царил изумление, и все здесь восхищались. Мюре пришла в голову эта идея. Сначала он пошел и купил у Левана в отличном состоянии коллекцию старинных и новых ковров, редких ковров, которые очень дорого продавали некоторые торговцы диковинками. И он собирался затопить ими рынок, и уступал их почти по цене стоимости, создавая просто великолепную обстановку, которая должна была нравиться его высоким клиентам d'art. Посреди площади Гэйон можно было наблюдать восточный салон, отделанный уникальными коврами и портъерами, которые мальчики повесили по распоряжению Мюре. Сначала на потолке простирались ковры Смирны, чьи сложные рисунки выделялись на красном фоне. Затем, с четырех сторон, свисали портъеры Карамании и Сирии, с полосками желтого, зеленого и киновари. Портъеры Диарбекира, самые заурядные, грубые на ощупь, как пастушьи сайоны, и еще ковры, которые можно было использовать в качестве занавеса. Длинные ковры Испохана, Тегерана и Керманшаха, самые широкие ковры Шумака и Мадраса, со странным цветением пионов и пальм, с фантазией, отпускающей в сады

мечты. На земле снова начинались ковры, усеянные толстым волосом. И имелся в центре ковер д, Агра, невероятный кусок с белым фоном, с широким нежно-голубым краем, где бежали фиолетовые орнаменты, изысканные для воображения; повсюду совершались чудеса: ковры Мекки в отражениях бархата, молитвенные ковры Дагестана с символическими рисунками, ковры Курдистана, с посеянными на них радостными цветами, наконец в углу, дешевизна: ковры Гердеса, Кулы и Кирхира, все вместе, начиная с пятнадцати франков. Эта палатка роскошного паши была меблирована креслами и диванами, сделанными из верблюжьего меха, одни – с вырезанными пестрыми ромбами, другие – украшенные простоватыми розами. Турция, Арабия, Персия, Индия были там. Опустошили дворцы, обобрали мечети и базары. Рыжеватое золото доминировало в старых ковровых потертостях, чьи увядшие оттенки хранили темный жар в глубине потухшей печи, прекрасный цвет, приготовленный старым мэтром. И посетители Востока плыли в роскоши этого варварского искусства, посреди сильного запаха старой шерсти, сохранившегося от земли паразитов и солнца.

Утром, в восемь часов, когда Дениза в этот понедельник пришла, что начать работу в магазине и пересекла восточный салон, она встала, захваченная увиденным, больше не узнавая вход в магазин, в смущении остолебенев перед всеми этими декорациями гарема, размещенными за дверью. Мальчик проводил ее наверх и передал в руки мадам Кабан, занимавшейся уборкой комнат и их осмотром. Там была комната под номером семь, где уже разместили ее сундук. Это была тесная клетка мансарды, с открытым окном на крышу, как у табакерки, меблированная маленькой кроватью, шкафом орехового дерева, туалетным столиком и двумя стульями. Двадцать подобных комнат, покрашенных в желтый цвет, выстроились в длину коридорной обители, для тридцати пяти девушек торгового дома, двадцать из которых не имели семьи в Париже и жили здесь, а пятнадцать других обитали за пределами магазина, некоторые – у тетюшек или кузин. Дениза сразу сбросила с себя тонкое шерстяное платье, износившееся и выдавшее щетку, с чинеными рукавами, единственное, которое она привезла из Валони. Потом она надела униформу своего отдела, черное шелковое платье, перешитое по ее фигуре, ждавшее ее на кровати. Это платье было еще немного велико ей, слишком широко в плечах. Но она так спешила, в своем волнении, что ни на минуту ее не останавливали его кокетливые детали. Никогда не носила она шелка. Когда спустилась вниз, неловкая, неудобная, она посмотрела на свою блестящую юбку и застыдилась шумного шороха ткани.

Едва она вошла в отдел, внизу вспыхнула ссора. Дениза услышала, как Клара резко сказала:

– Мадам, я пришла раньше, чем она.

– Это неправда, – ответила Маргарита. – Она меня толкнула у двери, когда я уже заходила в салон.

Это была регистрация прихода, от которой зависели торговые сделки. Продавщицы регистрировались у специальной доски, в порядке прибытия, и каждый раз одна из них имела клиентку и ставила свое имя в очередь. Мадам Орелия закончила спор в пользу Маргариты.

– Всегда несправедливость! – пробормотала Клара в ярости.

Но приход Денизы примирил девушек. Они посмотрели на нее, потом заулыбались. Можно расслабиться. Молодая девушка неловко записала на доске свое имя, где она оказалась последней. Однако мадам Орелия проверила с недовольной гримасой. Она не смогла удержаться, чтобы не сказать:

– Моя дорогая, как вы держитесь в вашем платье... Нужно его ушить... И потом, вы не знаете, как одеться. Приходите, я вас немного научу.

И она отвела Денизу к одному из высоких зеркал, которое соседствовало с дверью шкафа, плотно занятого готовой одеждой. Огромная комната, с антуражем из этих больших зеркал и высеченных из дуба оправ, с красным ковром крупного узора, напоминавшим обыкновенный салон отеля, который галопом непрерывно пересекали проходящие. Барышни дополняли

это сходство, одетые в шелковые регламентные платья, прогуливавшие свои торговые грации, никогда не садясь на двенадцать стульев, предназначенных лишь для клиентов. Все они, между двумя лацканами лифа, как пику, носили на груди большой карандаш, чей кончик торчал в воздухе; им рисовали, и можно было заметить наполовину вылезавшее из кармана белое пятно записной книжки. Многие рискнули надеть украшения: кольца, броши, цепочки – но кокетством, роскошью, за которую они сражались, в необходимом единообразии их туалетов, были их обнаженные волосы, поднятые волосы, ставшие выше благодаря накладным волосам или шиньону, причесанные, кудрявые, выставленные напоказ.

– Подтяните пояс спереди, – произнесла мадам Орелия. – У вас, по крайней мере, не будет горба на спине... И ваши волосы! Возможно ли так убивать их? Они будут прелестными, если вы захотите.

В самом деле, это было главной красотой Денизы. Пепельно-русые, они падали почти до лодыжек, и, когда она причесывалась, волосы ей мешали, до того, что ей было удобно собирать их и держать в одном пучке, под сильными зубьями роговой расчески. Клара, очень тоскующая по таким волосам, залилась смехом, просто, в их дикой грации, они были перевязаны поперек. Она сделала знак продавщице отдела белья, приятной девушке с широкой фигурой. Два постоянно соприкасавшихся отдела находились во вражде, но девушки иногда ладили друг с другом, чтобы посмеяться над людьми.

– Мадмуазель Куньо, видите эту гриву? – спросила Клара, которую Маргарита толкнула локтем, делая вид, что тоже задыхается от смеха.

Впрочем, белошвейка не собиралась шутить. Она на мгновение посмотрела на Денизу и сказала, что в первые месяцы в своем отделе достаточно страдала сама.

– Ну, хорошо. А у всех ли есть такие гривы?

И она вернулась к белью, оставив двух девушек смущенными. Дениза, которая все слышала, посмотрела на нее взглядом благодарности, а мадам Орелия вручила ей тетрадь с записями на ее имя, сказав:

– Пойдемте, завтра вы будете управляться лучше... А теперь постарайтесь привыкнуть к режиму дома, ждите своей очереди продаж. День сегодня будет трудный, мы сможем судить о том, на что вы способны.

Однако отдел готового платья оставался пустым, мало клиентов поднялись сюда в этот утренний час. Девушки, аккуратные и медлительные, устраивались, наводили порядок, чтобы подготовиться к послеобеденной усталости. Тогда Дениза, испуганная, что за ней присматривают, подточила свой карандаш до нужного размера, потом, подражая другим, воткнула его себе в грудь между лацканами платья. Она призывала себя к смелости; нужно было, чтобы она завоевала свое место. Накануне ей сказали, что она станет работать без фиксированных выплат. Она будет иметь только процент от продаж. Она надеялась, что придет к сумме в двенадцать сотен франков, так как знала, что хорошие продавцы собирали до двух тысяч. Ее бюджет был весь распределен. Сотня франков в месяц ей позволят платить за пансион Пепе и поддерживать Жана, который не получал ни су. Она сама сможет купить немного одежды и белья. Просто чтобы дотянуть до этой огромной цифры, она должна показать себя сильной и работающей, не печалиться из-за неприязни вокруг себя, сражаться и, если будет необходимо, взять свою долю у товарок. Поскольку она была возбуждена борьбой, высокий молодой человек, прошедший через секцию, ей улыбнулся; и, когда она узнала Делоша, которого видела накануне в секции кружев, она опять ему улыбнулась, счастливая этой дружбой, которую она обрела, видя в данном приветствии хорошее предзнаменование.

В девять тридцать прозвонили к завтраку первого стола. Потом ко второму. А клиенты все еще не приходили. Вторая продавщица в секции, мадам Фредерик, с ее угрюмой суровостью вдовы, шутила по поводу полного провала; немногословными фразами она утверждала, что день потерян: не увидим и четырех кошек, можно закрывать шкафы и уходить. Такое пред-

сказание омрачило плоское лицо Маргариты, очень открытое веселью, а Клара, с ее лошадиной походкой, напротив, уже мечтала о прогулке по лесу в Верьере, если дом торговли рухнет. Что касается молчаливой и серьезной мадам Орелии, через пустой отдел она прогуливалась в своей маске Цезаря, на ней лежала главная ответственность как за победу, так и за поражение.

К двенадцати часам появились несколько дам. Дениза начала свои продажи. Как раз одна клиентка позвала ее.

– Большая провинциалка, вы знаете, – заметила Маргарита.

Это была женщина сорока пяти лет, приехавшая из мест, далеких от Парижа, из глубины потерянного департамента. Там в течение долгих месяцев она копила свои су; потом понемногу спускала их на поезд, сваливалась в «Дамское счастье» и все здесь тратила. Изредка она писала письма о том, что хотела бы увидеть, чтобы иметь радость прикоснуться к товарам, снабдить себя иглками, стоившими, как говорила она, глаз на голове в ее родном городе. Весь магазин ее знал, знал, что ее зовут мадам Бютарей, знал, что она живет в Альби, не заботясь об остальном: ни о ее положении, ни о ее существовании.

– Вы хорошо доехали? Что желаете, мадам? – вежливо спросила мадам Орелия, которая опередила вопрос. – Мы для вас сразу принесем.

Потом, повернувшись:

– Девушки!

Дениза приблизилась, но Клара была поспешнее. Обычно она лениво поднималась предлагать товар, забавляясь деньгами, зарабатывая больше снаружи, на улице и без усталости. Просто ее прищипорила идея надуть хорошую, вновь прибывшую клиентку.

– Простите, это моя очередь, моя покупательница, – решительно сказала Дениза.

Мадам Орелия бросила строгий взгляд, пробормотав:

– Это не очередь, я одна здесь хозяйка. Подождите, поучитесь, чтобы обслуживать известных клиенток.

Молодая девушка отступила. И поскольку слезы заволокли ей глаза, она хотела скрыть свою эту крайность чувствительности и повернулась спиной, стоя перед зеркалом, делая вид, что смотрит на улицу. Разве это остановит продажу? Будут ли они все ладить, чтобы ей тоже досталась серьезная продажа? Ее объял страх за будущее, она почувствовала себя раздавленной столькими подлыми интересами. Уступив горечи своего отказа, лбом против холодного стекла, она смотрела на фасад «Старого Эльбёфа» и думала, что должна умолять своего дядю взять ее к себе; может быть, он сам бы желал переменить свое решение, так как накануне казался более взволнованным. Теперь она была совсем одна, в этом огромном торговом доме, где ее никто не любил, где она находилась обиженная и потерянная. Пепе и Жан жили у чужих людей, они, которые никогда не покидали ее юбки; это было страданием, и две огромных слезы, которые она не смогла удержать, скатились на туманную улицу.

Позади нее в это время послышался голос:

– Оно мне тесно, – сказала мадам Бютарей.

– Мадам ошибается, – произнесла Клара. – В плечах сидит отлично.

Но Дениза вздрогнула. Она положила руку на руку, а мадам Орелия строго окликнула ее:

– Отлично! Вы ничего сегодня не делаете? Вы смотрите на прохожих? Это не может так продолжаться!

– Потому что мне запретили торговать, мадам.

– Есть для вас другая работа, мадмуазель. Начните сначала. Займись раскладыванием товара.

Наконец, чтобы удовлетворить нескольких клиентов, закипела работа у шкафов, на больших дубовых столах, слева и справа салона в неразберихе валялись пальто, меха, ретонды и одежда всех размеров и тканей. Не отвечая, Дениза начала перебирать, старательно раскладывая, классифицируя и размещая все в шкафу. Это была низкая работа для дебютанки.

Дениза не протестовала, зная, что от нее требуют пассивного повиновения, и надо подождать, чтобы первая продавщица позволила ей продать; та, казалось, и собиралась это сделать. Дениза все раскладывала, когда появился Мюре. Это было для нее встряской; она покраснела, почувствовала повторение своего странного страха, полагая, что он с ней заговорит. Но он просто не видел ее, он уже не помнил о молоденькой девушке, минутное очарование которой оказало ему поддержку.

– Мадам Орелия! – позвал он коротко.

Он был немного бледен, однако глаза его были ясными и решительными. Он обошел всю секцию, обнаружил, что она пуста, и возможность ошибки в его расчетах вдруг нарисовалось в голове, с его упрямой верой в удачу. Без сомнения, уже прозвенело одиннадцать. Он знал по опыту, что толпа редко появляется раньше полудня. Просто некоторые симптомы его беспокоили: в других продажах движение возникало утром; потом он не видел даже женских причесок тех клиенток квартала, которые по-соседски заходили к нему. Как ко всем капитанам в момент сражения, несмотря на обычную силу активного человека, к нему пришла суеверная слабость. Он чувствовал потерянность и не мог сказать, почему. Он верил, что читает свои ошибки даже на лицах дам, проходивших мимо.

Тем более мадам Бютарей, которая всегда все покупала, подошла, сказав:

– Нет, у вас ничего нет, чтобы мне понравилось... Я посмотрю, еще подумаю.

Мюре взглянул на нее, решив уходить. И поскольку мадам Орелия подбежала на его зов, он увел ее в сторону; они обменялись друг с другом несколькими быстрыми словами.

У нее был жест разочарования, она явно отметила, что продажи не светят. На мгновение они остались лицом к лицу, победив одно из тех сомнений, которые генералы прячут от своих солдат. И вдруг он сказал громко, бравым голосом:

– Если вы будете нуждаться в людях, возьмите девушку из мастерской. Она всегда немного поможет.

Отчаявшись, он продолжал свою инспекцию. С утра он сторонился Бурдонкля, чья беспокойные размышления его раздражали. Выйдя из отдела белья, где продаж еще почти не было, он наткнулся на коллегу, испытав чувство страха. Тогда он послал его к дьяволу, с жесткостью, которой в плохие моменты не жалел даже для главных сотрудников.

– Оставь меня в покое. Все будет хорошо. Я перестану в трепете стоять перед дверью.

Мюре остановился на краю лестницы в холле. Оттуда он управлял магазином, вокруг него были все секции на антресолях, и он как бы плыл взглядом по секциям подвального этажа. Наверху ему показалось удручающе. «В кружевах» старая дама рылась во всех коробках, ничего не покупая, а в это время три негодяя в секции «Белья» медленно выбирали воротнички по восемнадцать су. Внизу, под крытой галереей, в лучах света, который шел с улицы, Мюре отметил, что клиентов становится несколько больше. Это был медленный проход перед кассами в пространстве, полном переходов. В галантерее, в секции чулочно-носочного трикотажа толклись женщины в кофтах; почти никого не было ни в отделе белого, ни в шерстяной секции. Мальчики магазина в своем обычном зеленом, с сияющими медными пуговицами, размахивая руками, ждали людей. Моментами с церемонным видом проходил инспектор, напряженный в своем белом галстуке. И в потускневшем мире холла сердце Мюре вдруг сжалось. Свет падал с высоты, и витрина матового стекла, сеявшая ясность белой пыли, распространявшейся и словно висевшей в воздухе, и секция шелков казались спящими посреди молчаливого трепетания свода. Шаги служащих, бормотание слов, прикосновения движущихся юбок создавали там единственный легкий шум, приглушенный жаром калорифера. Однако кареты прибывали: слышались резкие звуки останавливающихся лошадей; потом двери с силой закрывались. Снаружи поднимался далекий гомон толпы, любопытствующие толкались перед витринами, фиакрами, останавливавшимися на площади Гэйон; толпа все прибавлялась. Но, видя пассивных кассиров, сидевших перед своими окошками, отмечая, что все прилавки для товаров остались

оголенными, с коробками и бечевой, с их кольцами из голубой бумаги, охваченный страхом, Мюре верил, что большая торговая машина обездвижилась и охладела к нему.

– Однако, Фавьер, – пробормотал Гутин, – посмотрите на патрона. У него совсем не свадебный вид.

– Вот гадкое место! – как подумаешь, а я еще ничего не продал.

Оба, высматривая клиентов, не глядя друг на друга, перебрасывались фразами. Другие продавцы секции, по распоряжению Робино, были заняты разгрузкой «Счастья Парижа»; а Бутмонт на большом совещании с молодой и худой девушкой, казалось, отдавал вполголоса важные команды. На хрупких элегантных полках вокруг них – шелка, уложенные в конверты из кремовой бумаги, были сложены, как необычной формы рекламные брошюры. И, загромождающие прилавки фантастические шелка, муар, атлас и бархат казались клумбами украденных цветов, огромным количеством нежных и ценных тканей. Это была фешенебельная секция, истинный салон, где легкие товары служили просто роскошным убранством.

– Мне нужно сто франков в воскресенье, – промолвил Гутин. – И если я не сделаю в среднем свои двенадцать франков в день, я прогорю. Я уже посчитал продажи.

– Сто франков – это круто, – сказал Фавьер. – Я не прошу больше пятидесяти или шестидесяти... Вы расплачиваетесь с шикарными женщинами?

– Ну нет, мой дорогой, представьте себе глупость: я проспорил, и я потерял... Я должен порадовать пять человек, двух мужчин и трех женщин... Святое утро! И первое, которое я встречаю с двадцатью метрами «Счастья Парижа»!

Еще какое-то время они говорили, что делали накануне и что будут делать в течение восьми дней. Фавьер держал пари на скачках, Гутин катался на лодке и кормил певицу в концертном кафе. Но необходимость денег их подстегивала. Они не мечтали ни о чем, кроме денег, они сражались за деньги с понедельника по субботу, а затем съедали все в воскресенье. В магазине это было их тираническое занятие, не знавшее ни перемирия, ни жалости. И этот вредный Бутмонт, который пришел проверить посланное для мадам Савёр, для этой худой женщины, с которой он говорил! Отличная сделка, два или три десятка отрезков, так как большая портниха имела много больших ртов! Мгновенно это стало известно Робино, и он также подсказал клиента Фавьеру.

– О! Нужно оплатить его счет! – произнес Гутин, который пользовался самыми тонкими действиями, чтобы настроить кассу против человека, место которого он хотел занять. – О, сколько должны продать и первые, и вторые! Слово чести, мой дорогой, если я когда-нибудь стану вторым продавцом, вы увидите, как славно я буду действовать с такими, как вы.

И вся его маленькая нормандская личность, доброжелательная и толстая, энергично изображала порядочного человека. Фавьер не мог утерпеть, бросив на него косой взгляд; но тот посмотрел флегматически на желчного молодого человека и был доволен ответить:

– Да, я знаю. Я не жду ничего лучшего.

Потом, увидев приближавшуюся даму, он добавил потише:

– Внимание! Вот для вас.

Это была дама в желтой шляпе и в красном платье с пятнами.

Гутин сразу догадался, что дама относилась к тем, кто не покупал. Он живо опустился перед прилавком, притворяясь, что завязывает шнурки на одной из пар обуви, и, скрывшись, пробормотал:

– Ах, нет, к примеру... по другой цене. Спасибо... чтобы потерять мое время!

Однако Робино произнес:

– А к кому, мосье? К мосье Гутину? Где это, мосье Гутин?

И, поскольку тот решительно не ответил, продавец сразу зарегистрировал, чья это покупательница – дама в красном.

На самом деле она хотела образцов с ценой. Она держала продавца больше десяти минут и ставила ему вопросы. Однако второй увидел, как Гутин поднимается перед своим прилавком. И когда новая клиентка представилась ему, он вмешался в строгом тоне, остановив молодого человека, который забегался.

– Ваша очередь прошла... Я вас звал, как же вы были там сзади...

– Но мосье, я не слышал.

– Достаточно. Запишитесь в очередь. Пойдемте, мосье Фавьер, это для вас.

Взглядом Фавьер, очень довольный произведенным эффектом, извинился перед своим другом. Гутин, с бледными губами, склонил голову. Что его взбесило, так это то, что он хорошо знал клиентку, восхитительную блондинку, которая часто приходила в отдел, и продавцы называли ее между собой «красивой дамой», ничего не зная о ней, не зная и ее имени. Она купила много, делая обивку своей кареты, а потом исчезла. Высокая, элегантная, с изысканным шармом, она казалось человеком самого лучшего общества и очень богатой.

– Хорошо! ваша кокотка? – спросил Гутин Фавьера, когда тот подошел к кассе, куда сопровождал даму.

– О! кокотка! Нет, она слишком порядочна. Это, должно быть, жена дельца или врача, наконец, не знаю, что-нибудь этом духе.

– Оставьте! Это кокотка... В духе элегантных женщин, то, что можно сказать сегодня.

Фавьер посмотрел в свою записную книжку доходов. Я ей приклеил двести девяносто три франка. Это мне даст три франка.

Гутин поджал губы и освободился от своей обиды через записную книжку; еще одно смешное изобретение, которое обременяло их карманы! Было между ними что-то вроде немой борьбы. Фавьер обычно действовал, признавая верховодство Гутина, дышавшего ему в затылок. А последний страдал от трех франков, полученных так непринужденно продавцом, не сознававшим своих сил. Поистине, прекрасный день. Если так будет продолжаться, он не сможет оплатить даже сельтерской воды для своих гостей. В разгоравшемся сражении Гутин прогуливался перед прилавками, ревнуя к своему шефу, длинными зубами желая взять свой кусок, в надежде на молодую худенькую женщину, которой он повторял:

– Ну, это ясно. Скажите, я сделаю все возможное, чтобы оказать услугу господину Мюре.

В течение долгого времени Мюре не было на антресолях, он стоял перед лестницей в холле. Вдруг он снова появился на большой лестнице, спустился в подвальный этаж и оттуда еще следил за внутренней жизнью торгового дома. Его лицо засветилось, вера возродилась и усилилась благодаря потоку людей, который мало-помалу наполнял магазин. Наконец-то состоялся ожидавшийся рывок, послеполуденная толкотня, в которой он, в своей лихорадке чувств, на мгновение разуверился; все служащие находились на постах; последний удар часов прозвонил конец завтрака третьего стола; ужасное утро, без сомнения, к девяти часам, отмеченное ливнем, могло еще перемениться, так как на голубом утреннем небе вновь повторилась победная веселость. Теперь секции на антресолях оживились, надо было позволить пройти дамам, которые маленькими группами поднимались в секции «Белья» и «Готового платья», а рядом с собой, в «Кружевах» и «Шалях», Мюре слышал полет больших цифр. Но взглянув на галерею подвального этажа, он обнадежил себя: «Галантерея», «Белая одежда» и отдел «Хлопка» были запружены: здесь теснились проходящие покупатели, почти все теперь в шляпах и видны были несколько шапочек домохозяек. В холле «Шелков», под белым светом, дамы, бледнее и разговаривая вполголоса, мягко шупали «Счастье Парижа». И Мюре не сомневался больше в шумах, которые прибывали снаружи, от движения фиакров, клацанья дверей, гомона растущей толпы. Он чувствовал в этих шагах торговую машину, приведенную в движение, ожившую и разгоряченную, за кассами, где звонили часы; за прилавками, где мальчики магазина спешили упаковать товары; почти до глубины подвала, где находилась секция отправки

товаров, принимавшая спускаемые пакеты, чей подземный грохот создавал вибрации торгового дома. Посреди давки с серьезным видом проходил инспектор Жуве, следя за ворами.

– Ну, это ты? – сказал Мюре вдруг, узнав Поля де Валлогноска, которого к нему привел мальчик. – Нет, нет, ты меня не беспокоишь... К тому же, если ты хочешь все увидеть, ты можешь следовать за мной, сегодня я у прорыва.

Мюре посмотрел с беспокойством. Без сомнения, люди пришли. Но продажи... будут ли они триумфальными? Однако с Полем он смеялся, весело ведя его с собой.

– Кажется, он хочет немного посветиться, – сказал Гутин Фавьеру. – Просто у меня не было шанса, бывают дни невезения, верь мне! Я еще сделаю свой Руан, эта «плитка» совсем не ничего у меня не купила.

И он указал подбородком на даму, которая приближалась, кидая недовольный взгляд на все ткани. Не выйдет и тысячи франков с этого, а может, ничего не продается. По обычаю, он делал семь или восемь франков процента от продаж, и в среднем десять франков в день. Фавьер не делал больше восьми; и вот этот «башмак» выхватывал куски из его рта, так как он хотел продать новое платье. Холодный мальчик, никогда не знавший, как поднять настроение клиента! Это раздражает!

– Шапочки и чулки, похоже, бьют монетой, – бормотал Фавьер, говоря с продавцами головных уборов и чулочных изделий.

Но Гутин, окидывая магазин взглядом, резко сказал:

– Знаете мадам Дефорж, доброго друга нашего патрона? Ну! Эта брюнетка в «Перчатках», та, которой Миньо примерял перчатки.

Он умолк, потом повторил тише, как будто говорил с Миньо, с которого он больше не сводил глаз.

– Давай, давай, дружище, потри ей пальцы, ты продвнешься. Мы знаем твои победы.

Между ним и перчаточником установилось соперничество красивых молодых людей; оба кокетничали с клиентками, впрочем, ни один, ни другой не могли похвастаться реальной удачей; Миньо жил с легендарной женой комиссара полиции, влюбившейся в него, а Гутин был захвачен в своей секции прохожей, так как ему надоело таскаться по подозрительным отелям квартала, но они лгали друг другу, и оставалось охотно верить в таинственные приключения, в свидания с графинями между двумя покупками.

– Вы должны это сделать, – сказал Фавьер своим хриплым недовольным тоном.

– Это мысль, – воскликнул Гутин. – Если она пришла сюда, я ее раскошелю, мне нужны сто су.

В секции перчаток дамы всех размеров сидели перед тесным прилавком, обтянутым зеленым бархатом, с никелевыми металлическими штуками по углам, и улыбающиеся продавцы выгружали перед ними ярко-розовые коробки, которые высывались даже из-под прилавка, подобно выдвижным лоткам, помеченным картонажником. Миньо сразу склонил свою маленькую кукольную фигурку, придав нежные интонации своему голосу грассирующего парижанина. Он уже продал мадам Дефорж двенадцать пар козых перчаток, перчаток «Счастья», фишку торгового дома. Она вдруг спросила три пары шведских перчаток. И теперь мерила саксонские перчатки, боясь, что они не подойдут по размеру.

– О! отлично, мадам, – повторял Миньо, – размер шесть три четверти будет слишком велик для такой руки, как ваша. Полулежа на прилавке, он держал ее руку, беря пальчики один за другим, с долгой нежностью скользя перчаткой, повторяя и направляя; и смотрел на нее, как будто видел на ее лице недостаточность радости наслаждения. Но она оперлась локтем в край бархата, подняла запястье и спокойно отдала свои пальцы, как протянула бы ногу горничной, чтобы служанка застегнула ей ботинки. Разве он не был для нее человеком, которого она использовала в своих личных целях, с известной брезгливостью людей своего круга, даже не глядя на него.

– Я вам не причинил неудобств, мадам?

Знаком головы она ответила «нет». Запах саксонских перчаток, этот дикий, как мускусная сладость, запах обычно ее беспокоил; и она иногда смеялась, признаваясь в своем пристрастии к этому сомнительному аромату, в котором безумный зверь бросается в девичью коробку с пудрой. Но пред этим банальным прилавком она не чувствовала перчаток, у нее вообще не возникало никакого чувственного тепла между нею и этим продавцом, делавшим свое дело.

– Ну как, мадам?

– Ничего, спасибо. Можете отправить это в кассу десять на имя мадам Дефорж, не правда ли?

По обычаю торгового дома, она оставила свое имя в кассе и послала туда каждую из своих покупок, не следуя за продавцом. Когда она удалилась, Миньо моргнул глазами, повернувшись к своему соседу, которому он хотел бы сообщить о важных вещах.

– Ну? – резко пробормотал он. – Мы бы ее перчатили до самого конца!

Однако мадам Дефорж продолжала свои покупки. Она вернулась налево, остановилась у «белого» отдела, чтобы купить полотенец. Потом прошла дальше и в глубине галереи ринулась к шерсти. Поскольку мадам была довольна своей кухаркой, она пожелала подарить ей платье. Шерстяная секция была переполнена людьми; здесь были все маленькие буржуа, шупавшие ткани, питавшиеся немymi расчетами, и ей пришлось на мгновение присесть. В ящиках стояли огромные отрезы, которые один за другим, резкими усилиями рук опускали продавцы. Кроме того, они перестали узнавать друг друга на этих переполненных прилавках, где смешивались и рассыпались ткани. Это было волнующееся море нейтральных оттенков и приглушенных тонов шерсти: стального, серо-желтого, серо-голубого, где в кроваво-красной глубине фланели сияла шотландская пестрота. И белые этикетки отрезов выглядели как полет редких белых хлопьев, летящих на черную землю декабря.

За большой колонной поплина Ленар шутил с высокой девушкой с длинными волосами, из рабочего квартала, которую ее патрон опять отправил в дом торговли за тонкой шерстью, за мериносом. Он ненавидел эти дни больших продаж, которые оттягивали ему все руки, и старался уклониться от работы, широко поддерживаемый своим отцом, забавляясь продажами, делая лишь то, что позволило бы не быть изгнанным.

– Послушайте, мадмуазель Фанни, вы всегда спешите... – сказал он. – Вигонь² сегодня лучше, чем вчера? Я у вас получу процент с продаж.

Но работница заторопилась, смеясь, и перед ним оказалась мадам Дефорж, которую он не мог не спросить:

– Что желает мадам?

Она хотела купить ткань на недорогое, ноское платье. И Ленар, чтобы сохранить руки, которые были его единственной заботой, стал маневрировать, чтобы показать ткани, уже разложенные на прилавке. Там были кашемир, саржа, вигонь, и он считал, что ничего нет лучше, и этому не видно было конца. Но ничто, казалось, не удовлетворяло покупательницу. Она увидела в коробке голубоватый эскот. Тогда он спустил ей отрез, который она посчитала слишком грубым. Вдруг нашелся шевиот, диагональный, серый, со всеми сортами шерсти, которого она коснулась для удовольствия, в глубине души решив что-нибудь взять. Молодой человек должен был передвинуть более высоко стоящую коробку. Его плечи затрещали, а прилавок исчез под шелковистым зерном кашемира и поплина, под шершавой рыжиной шевиота, под мягкой пушистой вигонью. Там были все ткани и все оттенки. Не имея никакого желания купить, она показала на гренадин и на марлевку из Шанбери. А потом, когда ей показалось достаточно:

– О, Боже мой! Первый еще лучше. Это для моей кухарки. Саржа немножко пунктиром. Это два франка.

² Вигонь – пряжа из хлопка с шерстью.

И во время измерения Ленаром, бледным от гнева:

– Отправьте это, пожалуйста, на кассу десять, для мадам Дефорж.

Когда она удалялась, она увидела рядом с собой мадам Марти, в сопровождении дочери Валентины, высокой барышни четырнадцати лет, худенькой и дерзкой, кидавшей на товары взгляды преступницы.

– Вот как! Это вы, дорогая?

– Ну да, дорогая... Что? Какая толпа...

– Не говорите. Душегубка. Успех! Видели ли вы восточный салон?

– Потрясающе. Неслыханно.

И посреди ударов локтей, толкающихся в перекрещивающемся потоке маленьких сумочек, кидавшихся на дешевую шерсть, они обалдели от экспозиции ковров. Потом мадам Марти объяснила, что ищет ткань на манто. Но она не остановилась, а хотела указать на стеганный флис.

– Посмотрите, маман, – сказала Валентина. – Это слишком вульгарно.

– Пойдите в «Шелка», – посоветовала мадам Дефорж. – Нужно видеть их знаменитое «Счастье Парижа».

На мгновение мадам Марти смутилась. Это будет очень дорого. А она категорически пообещала своему мужу быть экономной! В течение часа она уже купила целый огромный перечень товаров: колпак и рюши для себя, чулки для дочери. Она закончила тем, что велела продавцам отправить ей еще вигонь.

– Ладно, нет, я пойду в «Шелка», – сказала она. – Это не решит моего дела.

Продавец взял товары и стал предлагать их дамам.

В «Шелках» толпа также прибывала. Все сразу столпились перед внутренними полками, приготовленными Гутиним, где Мюре давал ему наставления мэтра. И в глубине холла, вокруг чугунных колонн, которые поддерживали витрину, кипело полотнище, словно струившейся ткани, падавшее сверху и распространявшееся почти до самого паркета. Сначала хлынули яркий атлас и нежные шелка: королевский атлас, атлас-ренессанс, жемчужных тонов родниковой воды, легкие прозрачные кристально чистые шелка зеленого Нила, индийского неба, майской розы, голубого Дуная. Потом принесли более плотные ткани: волшебные атласы, герцогские шелка жгучих оттенков, скрученные в большие рулоны. А внизу, в бассейне, спали тяжелые ткани, с фигурными переплетениями: камча, парча, перламутровые блестящие шелка, и в глубокой бархатной постели – все разновидности бархата: черного, белого, цветного, выразительные на фоне шелка и атласа, выкапывающего зыбкие пятна в приводимом в движение неподвижном озере, где, казалось, танцевали отражения неба и пейзажа. Женщины, бледные от желания, склонялись над тканями, словно чтобы рассмотреть их. Все они, лицом к этому уроненному водопаду, остались стоять с немым страхом быть плененными этой нахлынувшей роскошью, с непреодолимым желанием кинуться в водопад и пропасть в нем.

– А вот и ты, – сказала мадам Дефорж, увидев мадам Бурдоле, разместившуюся перед прилавком.

– Ну, здравствуй! – ответила та, пожав руки дамам. – Я вошла на минутку, чтобы хоть одним глазком посмотреть.

– А? Он великолепен, этот прилавок... Об этом можно только мечтать... Восточный салон... Ты видела восточный салон?

– Да, да экстраординарно!

Но с энтузиазмом, с которым она решила быть нотой элегантности этого дня, мадам Бурделе хранила холодную практичность домохозяйки. Она тщательно рассматривала отрез «Счастья Парижа», так как пришла исключительно для того, чтобы попробовать купить этот сверхъестественный шелк подешевле, если найдет сделку выгодной. Без сомнения, она

была удовлетворена и спросила двадцать пять метров, хорошо рассчитав на платье для нее и на пальто для ее маленькой дочери.

– Как? ты уже уходишь? – спросила мадам Дефорж. – Ну, сделай милость, пройдишь с нами.

– Нет, спасибо, меня ждут дома... Я не хочу рисковать детьми в этой толпе.

И она пошла, в сопровождении продавца, который нес двадцать пять метров шелка и вел ее в кассу десять, где молодой Альберт потерял голову, посреди счетов, которыми он был осажден.

Когда продавец смог приблизиться, после расчета этой продажи росчерком карандаша в своей тетради, он назвал эту продажу, зарегистрированную кассиром, потом возник встречный запрос, отрывной лист из тетради был наколот на железную пику, рядом с печатью квитанции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.